

ТАТЬЯНА
ГАЛУШКО

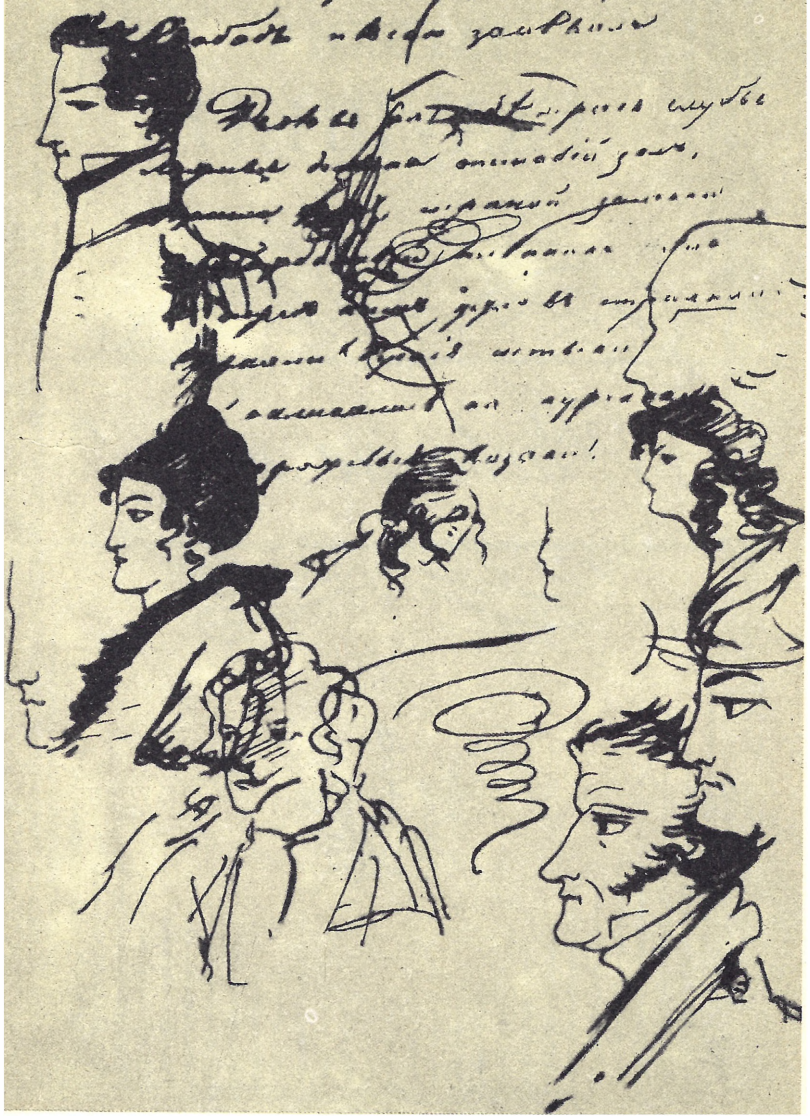


„ Раевские мои... “



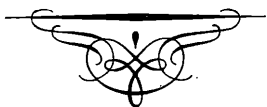
Pyri, sil lo un dant em dicitur
honda lo rapere, rapere cypho
Pardote ubi qd zoubhura

Perche lo pnt qd p pnt cypho
rapere dicitur em dicitur qd
rapere dicitur em dicitur qd
rapere dicitur em dicitur qd
rapere dicitur em dicitur qd
rapere dicitur em dicitur qd
rapere dicitur em dicitur qd
rapere dicitur em dicitur qd



ТАТЬЯНА
ГАЛУШКО

„ Раевские мои... “



ЛЕНИЗДАТ
1991

ББК 46
Г 16

Подготовка текста, подбор иллюстраций и комментарии
Т. А. Калининой

Рецензент **Я. А. Гордин**

Редактор **Э. Ф. Кузнецова**

Галушко Т. К.
Г16 «Раевские мои...» — Л.: Лениздат, 1991.—160
с., ил.
ISBN 5-289-00904-3

Автор — известный поэт и литературовед — рассказывает о друзьях А. С. Пушкина, их незаурядных и драматичных судьбах. Книга неоднородна по жанру. Основу ее составляют две документальные повести — о Н. Раевском и А. Дельвиге. К ним примыкают свободно написанные эссе об А. Раевском и Е. Ростопчиной. Для широкого круга читателей.

Г $\frac{1805080000-044}{M171(03)-91}$ 132—91

ББК 46

ISBN 5-289-00904-3

© Т. К. Галушко, 1991

О КНИГЕ И ЕЕ АВТОРЕ

Духовность облика? Куда!
Я вся была — первотворенье.
Рывок, пыланье, нетерпенье,
Зрачков магнитная руда.
Не уложить тайги волос,
Не согласить лица с величьем.
Общенье с музами велось
Не божьим промыслом, а личным.
.
Люта моя купель — январь,
Как я кипела в мире белом!
Мне душу заменяла ярь.
Теперь живу в разлуке с телом.
.
И лишь теперь я поняла
Отличие стихов от прозы...

Многоточие — в стихотворении Татьяны Галушко.

Многоточие — в конце ее жизни. Жизнь оборвалась. Судьба продолжается.

Татьяна Кузминична Галушко (1937—1988) была поэтом по призванию. Немногие могут нынче творчеством своим подтвердить те слова, что прежде, в пушкинское время, звучали как кредо многих поэтов: «Я пишу, как дышу: свободно и свободно!» Жизнь ее находилась в неразрывной связи с ее поэзией.

Татьяна Кузминична часто говорила: «Мне бы только успеть увидеть напечатанными „Раевских...“». Не довелось. Почему так важно было поэту увидеть изданной свою прозу, исторические эссе о людях, близких Пушкину? И почему она старается взглянуть на поэта именно глазами его современников, а не пишет монографических статей? Наверное, потому, что о Пушкине в последнее время выходило слишком много научных, художественных и «околохудожественных» произведений, но «короля играет его свита»: взгляд на Пушкина глазами его друзей и врагов может быть куда более исторически точен, оправдан, эмоционален, более соотносен с понятиями того времени. Речь даже не о самом творчестве поэта (хотя его посвящения, конечно, говорят сами за себя). Чтение пушкинских рукописей

параллельно с воспоминаниями о нем современников и собственным к этому отношению автора готовит порою много неожиданных открытий даже на такой «проторенной дороге», как пушкинистика.

Перед нами прозаическое эссе поэта, около тридцати лет своей жизни посвятившего музею Пушкина. Говоря словами самой Татьяны Галушко, для нее это была не работа, а честь. Честь — понятие «давно минувших дней»? А не пора ли его возродить? Не пора ли слова Александра Раевского: «Государь, честь дороже присяги» — воспринять как норму и нашей жизни? Не пора ли вообще отрешиться от столь любезных нам абстрактных лозунгов и почаще мысленно возвращаться к пушкинскому изречению: «Народ, не знающий своей истории, не имеет права на существование».

Не потому ли поэты принимаются за историческую прозу? Окуджава, Соснора, Ахмадулина, Галушко... Не потому ли речь в ней чаще всего идет о людях «золотого века» нашей истории, которые за честь и достоинство готовы были жизнь отдать?

Книга Татьяны Галушко — о поэте Дельвиге, художнике Кипренском, блистательной семье Раевских, генерале Орлове, друге Пушкина «московском барине» Нащокине, поэте Баратынском, поэтессе Ростопчиной и еще о многих из тех, кто жил в «пушкинскую» эпоху и кого, по гениальной формуле Блока, «убило отсутствие воздуха».

История, если в нее пристально и непредвзято всматриваться, — великий учитель. От нее к нам идет тот нравственный свет, без которого нельзя представить нашей духовной культуры. Об этом — книга Татьяны Галушко.

Автор не успела сделать к своей книге ни примечаний, ни комментариев. При подготовке рукописи к изданию нам пришлось закончить эту работу, подобрать иллюстративный материал и отредактировать текст, не вторгаясь в него, а сохраняя авторское видение материала, не вступая в полемику даже с тем, что нам казалось спорным.

Большую помощь в подготовке к изданию книги Т. Галушко оказали кандидат исторических наук Р. Г. Жуйкова, а также сотрудники библиотеки Всесоюзного музея А. С. Пушкина, в частности И. А. Меньшова, осуществившие подбор библиографического материала.

Т. А. Калинина,
научный сотрудник Всесоюзного
музея А. С. Пушкина



СУДЬБА И ЛЕГЕНДА

Этюды к портрету Дельвига



1

Лицее вместе с Пушкиным учились три десятка мальчиков, в том числе Дельвиг. О нем принято писать: «друг Пушкина — поэт пушкинской плеяды», «ленивец Дельвиг»... О Дельвиговой лени твердят полтора столетия. О ней и по сей день пишут стихи.

Нет-нет, не зря хранится идеал,
Принадлежащий поколенью!..
О Дельвиг, ты достиг такого ленью,
Чего трудом не каждый достигал...

Это наш современник Давид Самойлов. В его стихах жребий Дельвига канонизирован.

А 150 лет назад в Лицее надзиратель М. С. Пилецкий-Урбанович едва ли не первый констатировал: «Способности его посредственны, примечается склонность к праздности и рассеянности...»¹

В 1839 году однокашник Дельвига Модест Корф заносит в дневник истории жизней своих одноклассников. Естественно, критерием оценки служили его, Модеста Андреевича Корфа, судьба и карьера².

«Теперь 23-й год, что я вышел из лицея, и, следовательно, 23-й год первому выпуску из этого заведения... Из всех моих товарищей, живых и мертвых, я до сих пор, по политической моей карьере, стал выше всех...

Барон Антон Антонович Дельвиг.

В лицее милый, добрый и всеми любимый лентяй, после лицея — приятный поэт, стоявший в свое время в первой шеренге наших литераторов. Но теперь почти уже забываемый. Дельвиг никогда ничему не учился, никогда истинно не служил, никогда ничего не делал, а жил всегда припеваючи с любящей душой и добрым,

истинно благородным характером... О службе Дельвига говорить нечего. Он числился, кажется, при Публичной и умер чуть ли не титулярным советником».

Двоюродный брат Дельвига Андрей Иванович Дельвиг, автор подробных и занимательных записок, утверждал: «Дельвиг по своей лени не мог быть действительным членом никакого общества...»

В. Г. Белинскому принадлежит решающий, казалось бы, приговор: «Дельвиг своею поэтической славой был обязан больше дружеским отношениям к Пушкину и другим поэтам своего времени, нежели таланту».

Итак, кто же он, Антон Дельвиг,— сибарит, ленивец сонный, аполитичный автор идиллий и романсов, прячущийся в искусстве от бурь жизни, добрый и непритязательный хозяин музыкального и литературного салона, автор шестидесяти стихотворений, добившийся некоторой известности благодаря любви к нему Пушкина?

Все обманчиво в Дельвиге. Все обратно молве и легенде.

Немецкий барон по фамилии, москвич по рождению, Антон Дельвиг к моменту поступления в Лицей совсем не знал по-немецки. Отец его, плац-адъютант, затем плац-майор, затем генерал-служака и русофил, был беден и прост. Мать, урожденная Красильникова, дочь астронома, служившего в Академии наук, мечтала о высокой участи своих детей. Дельвига готовил в Лицей поэт Александр Дмитриевич Боровков...

Сверстники вспоминают полноту Дельвига, сонную флегматичность, очки, толстые губы. Он казался им тупым и мешковатым. Они не интересовались типологией лиц. И этот недоросль, так похожий на своего современника, австрийца Франца Шуберта, мало кому из них был интересен. Но для тех, кто умел вглядываться, открывалось другое: «необыкновенное добродушие, приветливость и простота в обращении».

Среди учеников он не отличался ни прилежанием, ни образованностью. Пушкин, как бы изумляясь тогдашнему Дельвигу, вспоминает: «На четырнадцатом году он не знал никакого иностранного языка и не оказывал склонности ни к какой науке».

При этом Пушкин добавляет: «Любовь к поэзии пробудилась в нем рано».

Первыми как поэты заявили о себе А. Пушкин, В. Кюхельбекер, А. Илличевский. Они не блистали по остальным предметам, но словесность, история, языки — тут они определяли вкусы и оценки, тут они царили.

А. А. Дельвиг. Акварель
П. Л. Яковлева. 1818.



Царское Село. Лицей. Рисунок
А. С. Пушкина на рукописи VIII
главы романа «Евгений Онегин».
1829—1830



Дельвиг, по их мнению, званию поэта не соответствовал. Песни матушки Любови Матвеевны, которые он вспоминал в своей спальне и записывал наново греко-российскими гекзаметрами, прозрачными, как медовые соты, — это были стихи. Впрочем, он один знал, что это — творчество. Покровительствовал ему Кюхельбекер. Он же приобщил Дельвига к немецкой литературе.

Пушкин свидетельствует: «Клопштока, Шиллера и Гельти прочел он с одним из своих товарищей (Кюхельбекером.— Т. Г.), живым лексиконом и вдохновенным комментарием». Но всем поэтам Дельвиг предпочитает Державина. Не расстается с его стихами. В день приезда Державина в Лицей на переводной экзамен в 1815 году караулит его внизу у подъезда, чтобы не пропустить исторической минуты.

Ни Пушкин, ни Кюхельбекер не подозревали, какая упорная работа совершается в замкнутой душе Дельвига.

В 1814 году Дельвиг опубликовал в «Вестнике Европы» свои стихи. Пятнадцатилетний автор с немецкой фамилией подписался псевдонимом «Руской». Он напечатался первым из лицейстов. Эта пруть поразила многих. Впрочем, еще раньше он затеял рукописный журнал. Сначала он именовался «Неопытное перо», позже «Лицейский мудрец». Дельвиг — его бессменный редактор. С завидной энергией собирает он материалы, делит их по разделам, всегда умеет привлечь нужного человека то к художеству, то к сочинению критик. Литература влечет его неудержимо. Через много лет он признается:

В судьбу я верю с юных лет.
Ее внушению покорный,
Не выбрал я стези придворной,
Не полюбил я эполет
(Наряда юности задорной),
Но увлечен был мыслью вздорной,
Мне объявившей: ты поэт!

Он сформировался раньше других, хотя развитие его было скрытым и на посторонний глаз даже замедленным. Но такие цельные натуры в своей нравственной основе складываются раз и навсегда. Он поражал. Случалось ему фантазировать с таким правдоподобием деталей, что самый придирчивый слушатель не уловил бы фальши. Остроумие его, при внешней его неуклюжести, всегда выглядело неожиданным, разительным. Он был наделен юмором в огромной степени.

Пушкина он полюбил страстно. Пушкин его беспокоил. Хотел идти в гусары. А между тем Дельвиг был убежден в том, что его друг — гениальный поэт. Он уговаривал Пушкина послать стихи в столичный журнал. Самолюбивый Пушкин отказывался. Боялся неудачи.

Тогда Дельвиг сам послал его стихи. Анонимно. Редакция «Вестника Европы» попросила назвать имя автора. Пришлось сообщить, что автор — лицеист, Александр Пушкин.

Наконец, за подписью «Александр Н. к. ш. п.» послание «К другу-стихотворцу» было опубликовано.

Пушкин шутливо выговаривал Дельвигу:

Увы, мне, метроману,
Куда сокроюсь я?
Предатели-друзья
Невинное творенье
Украдкой в город шлют
И плод уединенья
Тисненью предают...

Но на самом деле он горд.

Дельвигу этого мало. На страницах «Российского Музеума» осенью 1815 года появляется его послание «Пушкину». Дельвиг всенародно предсказывает своему однокашнику бессмертие. Он предостерегает его от всякой иной, чем поэзия, судьбы, благословляет на служение музам.

Пушкин! Он и в лесах не укроется;
Лира выдаст его громким пением,
И от смертных восхитит бессмертного
Аполлон на Олимп торжествующий.

Дельвигу важно привлечь к имени Пушкина внимание публики, познакомить с этим именем критиков и писателей.

Узнав о смерти Державина, Дельвиг сочиняет гекзаметрами торжественную надгробную оду. Смерть великого старца связана для него с восходящей звездой Пушкина. Его одного именует Дельвиг преемником патриарха русской поэзии.

Державин умер! чуть факел погасший дымится,
о Пушкин!
О Пушкин, нет уж великого! Музы над прахом
рыдают!
.....
Кто ж ныне посмеет владеть его громкою лирой?
Кто, Пушкин?!

Ответ содержится в самом вопросе.

Откуда эта прозорливость, эта уверенная целеустремленная страстность в подростковом, «понятия которого, по мнению всех, были ленивы, а память тупа»?

Он и сам много сочинял: настойчиво работал над сложной структурой русского гекзаметра. Природная музыкальность, верный слух определяли его метрическую изобретательность, подвижную ритмическую природу его стиха. Он ничего не заимствовал у Пушкина. Даже в чем-то шел вразрез ему. Ему нравились М. Херасков и Нелединский-Мелецкий, особенно его «Сизый голу-

бочек». Он с большим вниманием вглядывался в строчки Сумарокова, тайно от всех плакал над карамзинскими чувствительными песенками.

Он работал. Его дольники, его пятистопные хорей и дактили обнаруживали удивительные ритмические свойства вольного стиха. Теперь уже не Кюхельбекер его, а он Кюхельбекера поражает своими открытиями. След этих взаимных влияний сохранился в письме Г. А. Глинки (женатого на сестре Кюхельбекера³) к Кюхельбекеру 10 июня 1814 года.

«Что ж принадлежит до содержащихся в письме твоём мыслей о близком свойстве русского языка к древнегреческому, о греческом экзастре и проч., то мне кажется, что суждения твои о сих материях не совсем основательны; самые же ошибки твои приписываю или поверхностному твоему о них сведению, или пристрастию, со стороны в тебя вложенному...»

К концу лицейского курса Дельвиг — признанный теоретик стиха. В лицейских куплетах пели:

Полно, Дельвиг, не мори
Ты людей стихами;
Ждут нас кофе, сухари,
Феб теперь не с нами.

Рождение прощальной лицейской песни тоже связано с Дельвигом. Он ее автор.

Простимся, братья! Руку в руку.
Обнимемся в последний раз!
Судьба на вечную разлуку,
Быть может, здесь сроднила нас.
.....
Храните, о друзья, храните
.....
В несчастье — гордое терпенье.

Пушкин, прощаясь с Дельвигом, не знал, при каких обстоятельствах припомнятся им строки о гордом терпенье, а песня лицейского братства отзовется гимном верности и единодушия.

Дельвиг в своем послании 1815 года назвал Пушкина лебедем. Это не случайно. Вот что писал в статье «Царскосельский сад» Я. И. Сабуров (речь в ней идет о 1816 годе):

«Лебеди пользовались у всех народов особенным почтением, им римляне и греки приписывали сверхъестественные свойства. Здешние (царскосельские) не отстали вдохновением от почтенных предков своих: недавно один,

завидев на берегу толпу лицейских учеников, отделился с криком и воплем, как будто объятый духом пророчества, от стаи, плывшей по озеру, и трепещущий, безмолвный, пал к ногам Пушкина».

Через много лет взлетит этот лебедь в последней главе «Евгения Онегина»:

В те дни в таинственных долинах,
Весной при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться муза стала мне.

Одно дело — писать стихи. Другое — осознать себя поэтом и только поэтом. Это осознание связано у Пушкина с Дельвигом, с его пророческими напутствиями.

2

После Лицея Дельвиг, о котором лицейский фольклор утверждал, «что на досуге можно спать и в Кременчуге», вскоре возвратился в Петербург. Он поступил в Публичную библиотеку помощником библиотекаря, без жалованья. В обществе он известен «опасными для себя» разговорами. Вчерашний член «Священной артиели» (одного из преддекабристских кружков), в которой бывали также В. Вольховский, И. Пущин, В. Кюхельбекер, член кружка «Зеленая лампа», в котором участвовали многие из будущих заговорщиков⁴, Дельвиг многим кажется беспечным малым, легкомысленно отвергающим заботы о карьере и заработке. Между тем он становится заметной фигурой в среде литераторов. И это независимо от Пушкина.

По библиотеке сослуживец И. А. Крылова и Н. И. Гнедича, Дельвиг сближается с кругом писателей старшего поколения: с печатавшим его А. Е. Измайловым, со своим бывшим учителем А. Д. Боровковым, с И. И. Козловым, В. А. Жуковским. Он завсегда тай литературных собраний, почти ежедневно бывает в гостях у различных писателей, вступает в Общество любителей словесности, наук и художеств.

С точки зрения бывшего директора Лицея Е. А. Энгельгардта, он, «кроме очень глупых и опасных для себя разговоров, ничего не делает».

В полемической буре вокруг пушкинской поэмы «Руслан и Людмила» Дельвиг выступает за Пушкина. В списках распространяется его эпиграмма на А. Ф. Войейкова⁵, автора уничтожающей критической статьи.



Е. А. Баратынский. Рисунок
А. С. Пушкина в черновой руко-
писи поэмы «Полтава». 1828.

В то же время происходит еще одно важное событие: Дельвиг открывает новый поэтический талант — Евгения Баратынского и вводит его в пушкинский круг писателей.

Можно подивиться обаянию и нежной деликатности Дельвига. Баратынский, недавно переживший позорное исключение из Пажеского корпуса, замкнут, угрюм, душевно надорван. Дельвиг поселяется с ним на одной квартире, в казармах Семеновского полка. Сохранилось их общее описание этого совместного житья; торжественной форме гекзаметра противоречит содержание ничего существования, впрочем, для них оно исполнено величия.

Там, где Семеновский полк, в пятой роте, в домике

низком,

Жил поэт Баратынский с Дельвигом, тоже поэтом.

Тихо жили они, за квартиру платили не много,

В лавочку были должны, дома обедали редко.

Часто, когда покрывалось небо осеннею тучей,

Шли они в дождик пешком, в панталонах трикотовых,

тонких,

Руки спрятав в карман (перчаток они не имели!),

Шли и твердили шутя: «Какое в россиянах чувство!»

Несколько лет спустя Баратынский, обращаясь к этому времени, вспоминал Дельвига с благодарной нежностью, с восхищением ученического любования. Он писал ему из Финляндии:

Ты помнишь ли, с какой судьбой суровой

Боролся я, почти лишенный сил?

Я погибал — ты дух мой оживил

Надеждою возвышенной и новой.

Ты ввел меня в семейство добрых муз;

Деля досуг меж ими и тобою,

Я ль чувствовал ее свинцовый груз

И перед ней унизился душою?
...Еще позволь желание одно
Мне произнестъ, молюся я судьбине,
Чтоб для тебя я стал хотя отныне,
Чем для меня ты стал уже давно.

В мае 1820 года Пушкина выслали из Петербурга. Дельвиг и Яковлев провожали его до Царского Села. После Лицея они виделись не слишком часто, но близость не нуждалась в ежедневном общении. Дельвиг мог даже подтрунивать:

Друг Пушкин, хочешь ли отведать
Дурного масла, яиц гнилых?
Так приходи со мной обедать
Сегодня у своих родных.

Но, чуждая сентиментальности, их дружба перед лицом разлуки обрела черты античного братства. Дельвиг благословлял Пушкина. Они целовали руки друг у друга. Судьба, разлучая их, усиливала их взаимное тяготение.

В 1880 году московская газета «Молва» опубликовала такую заметку:

«Если верить книгопродавцу Лисенкову, известному Мафусаилу петербургской книжной торговли, знавшему на своем веку многих писателей первого пятидесятилетия нынешнего века, то оказывается, что под словом «Соловей» барон Дельвиг разумел нашего бессмертного поэта А. С. Пушкина. Г-н Лисенков сообщил нам, что будто бы песенка эта написана по поводу разлуки его с Пушкиным, высланным из Петербурга в Бессарабию».

«Соловей» («Русская песня») написан в 1825 году, когда Пушкина давно не было в Бессарабии. Песня эта сложена от лица тоскующей девушки, и ничто, казалось бы, не свидетельствует о правоте газетной заметки 1880 года. Другой дело — романс А. А. Алябьева⁶. В нем одна строфа Дельвиговых стихов развита в музыкальную тему, не просто виртуозную, но художественно совершенную. Образ соловья-волшебника, чудодея, щедрого и ликующего в своем голосовом богатстве, несомненно, в восприятии современников сочетался с образом Пушкина, «соловья нашего времени». И возможно, первым это понял сам Дельвиг.

11 января 1825 года Пушкина в Михайловском навестил «бесценный друг» Иван Пущин. От него поэт узнал о существовании в России тайной политической

организации, о готовности заговорщиков выступить. Пушкин мучительно переживал эту новость. Он, поэтический вождь молодой России, выразитель ее надежд и стремлений, оказался на окраине событий; он оторван от общественной жизни, заперт в деревне, обречен на бездействие.

Он звал Дельвига. Так младший брат зовет старшего: для утешения, для поддержки, для новой надежды. Дельвига не отпускали к ссыльному поэту. Ему, как и Пушкину в свое время, давали понять, что такая поездка может повредить ему непоправимо. Дельвиг испросил отпуск по семейным обстоятельствам на 28 дней. Директор Публичной библиотеки А. Н. Оленин (сам некогда принимавший Пушкина в своем доме, большой поклонник его стихов) прошение об отпуске подписал. Дельвиг отправился в Витебск, к родителям, а оттуда — в Михайловское, к Пушкину. Шел апрель 1825 года. Дельвиг провел у друга две недели, просрочил отпуск на два месяца и по прибытии в Петербург был за это уволен. А может быть, не только за это...

Но какое значение имело это будущее обстоятельство, гнев и досада Оленина, если он был необходим Пушкину, если он один мог вернуть ему веру в себя, в свой жребий летописца эпохи и ее пророка.

После отъезда Дельвига Пушкин написал стихи о любви, о том, как способность любить возродилась, потому что очнулась от оцепенения душа:

Душе настало пробужденье.

В день лицейской годовщины Пушкин написал знаменитые стихи, гимн лицейской дружбе. И к Дельвигу в этих стихах обращены слова умиления и благодарности.

Когда постиг меня судьбины гнев,
Для всех чужой, как сирота бездомный,
Под бурею главой поник я томной
И ждал тебя, вещун пермесских дев.
И ты пришел, сын лени вдохновенный,
О Дельвиг мой: твой голос пробудил
Сердечный жар, так долго усыпленный,
И бодро я судьбу благословил.

В этих стихах Пушкин присоединяет к имени Дельвига неповторимый, поразительный эпитет — «гордый».

Ты, гордый, пел для муз и для души...

Вдохновенная гордость — вот истинная подоплека «лени» Дельвига. Его «лень» — это манера поведения

независимого человека, свободного от условностей и давления света, уверенного в своем праве на личную свободу и цельность, на автономность своих суждений и поступков. Дельвигу, как и Пушкину, была нестерпима мысль, что самодержавная власть смотрит на писателя, как на наемного холопа. Он с возмущением вспоминал, как Аракчеев бил издателя Греча по носу номером журнала, в котором Греч осмелился напечатать статью о конституции.

За годы ссылки Пушкина Дельвиг вырос в одного из самых значительных русских журналистов. Гибкий противник Булгарина и Греча, умный конкурент Рылеева и Бестужева, он занял особое место в литературном процессе. Дельвиг незаметно, но весьма энергично взялся за издание собственного альманаха «Северные цветы» и объединил в нем лучшие литературные силы страны. Сохраняя репутацию беспечного ленивца, добряка-флегматика, Дельвиг с завидной целеустремленностью на протяжении восьми лет осуществлял издание, позволившее целому литературному направлению выразить себя в годы, последовавшие за 14 декабря 1825 года.

В конце концов именно его умение выбирать людей для этой работы, его поэтические и художественные критерии, его деликатная настойчивость, преодолевающая инертность авторов, его всепоглощающая заинтересованность в этой работе определили успех «Северных цветов». Как ни велика роль Пушкина, вдохновителя альманаха, авторитетом своего участия определившего его уровень, без ежедневного, постоянного труда Дельвига его бы не было. Как не стало после его смерти, несмотря на всеобщую готовность его продолжать. Как не стало со смертью Дельвига «Литературной газеты»⁸. Дельвиг весь, целиком, принадлежал этой работе. И потому она осуществлялась. В известном смысле он олицетворял предприимчивость литераторов-аристократов, хотя это тоже парадокс.

Да, Дельвиг таинствен, в чем-то неуловим. Тайна Дельвига состоит из малых тайн, из утраченных для нас связей, мостов, соединявших некогда его судьбу с судьбами его современников.

3

Весть о восстании на Сенатской площади потрясла Пушкина. Рукописи хранят следы этих мучительных впечатлений. На полях листа с набросками первых строф

5-й главы «Евгения Онегина» он рисует портреты друзей. Рядом с головой Пушкина — голова Дельвига. Почему Дельвига? Ведь Пушкину известно, что Дельвиг не состоял в тайном обществе. И Пушкин не состоял. Но на вопрос нового императора: «Где бы вы находились, если бы оказались в Петербурге в день восстания?» — Пушкин впоследствии ответит без колебания:

— Стал бы в ряды мятежников. Там были мои друзья.

Если бы оказались в Петербурге... Дельвиг-то был в Петербурге. Счастливый молодежен, он оказался в трех шагах от событий — жил на Б. Миллионной улице, в доме Эбелинга.

Вот свидетельство его кузена А. И. Дельвига:

«14 декабря, узнав, что большие толпы народа и войска собираются на Дворцовой площади, он пошел посмотреть на то, что делалось; прошел мимо войск и перед возмущившимся батальоном лейб-гвардии Московского полка и видел только одного офицера этого полка князя Щепина-Ростовского; более никого не было. Многие из участвовавших в мятеже были в кондитерской, бывшей тогда на углу площади и Вознесенской улицы... Он в нее не входил. Новый император Николай Павлович находился близ дворца, верхом, с большой свитой. Слова государя, которые Дельвигу удалось расслышать, дали ему понять важность происходившего, и он поспешил домой, чтобы успокоить жену.

Вскоре по его возвращении домой началась пальба, а когда она окончилась, он, чтобы узнать подробности, пошел к жившему на одной с ним улице князю А. И. Одоевскому. Но не застал его: он был уже арестован».

Что, если бы Дельвиг зашел в кондитерскую?!

Он в 1825 году охладел к Рылеву и Бестужеву, соперничество на арене журнальной борьбы несколько испортило их отношения, хотя Дельвига видели на «русских завтраках» Рылеева. Но ведь на площади были Пушкин и Кюхельбекер, любимый Вильгельм, основавший некогда их союз поэтов.

Что, если бы он их встретил?

Он не разделял политической программы заговорщиков. Ему принадлежит один из самых резких отзывов: «из дурных писателей хотелось попасть в еще худшие правители... И дело ли мирных муз вооружаться пламенниками народного возмущения». Но не стоит и переоценивать этого отзыва. Дельвиг был литератор, и это суждение одного литератора о знакомых литераторах, а не о движении декабристов. Он просто считал, что если твоя



Петербург. Вид Миллионной улицы. Акварель О. Монферрана. 1830-е гг.

профессия — словесность, незачем заниматься политикой. Гражданский пафос Рылеева был ему совершенно чужд, коль скоро выходил за рамки стихов. Как ни странно, его оценка в чем-то смыкается с отзывом другого современника:

— Сто прапорщиков решили изменить государственный строй России!

Эти слова Грибоедова облетели страну. Грибоедов был профессиональным политиком, дипломатом, он видел наивность, утопизм политической попытки заговорщиков. Он судил не идею, а метод.

Это резкое, «о дурных писателях», письмо к Баратынскому порой расценивалось как свидетельство не аполитичности даже, а верноподданнической готовности Дельвига бросить в декабристов камень.

Почему он пошел к Одоевскому «узнать подробности»? Значит, знал, что Одоевский причастен. В воспоминаниях того же А. И. Дельвига есть характерное суждение: «Дельвиг по своей лени не мог быть действительным членом никакого общества, а по его политическим понятиям, насколько я мог их узнать, не поступил бы в тайные общества. Рылеев, при частых свиданиях, мог бы ему сказать об их существовании, и, конечно, Дельвиг не донес бы о них правительству и мог бы подверг-

нуться той же участи, какой подверглись тогда многие, знавшие только о существовании тайных обществ».

А. И. Дельвиг многого не знал. Например, того, что имя Дельвига упоминалось во время допросов заговорщиков. Офицер Пыхачев, например, заявил, что Дельвиг состоял в тайном обществе. Ссылались на его стихи, как на источник свободомыслия. По-видимому, имелась в виду не только поэзия Дельвига, но и широко известное четверостишие Пушкина «К портрету Дельвига».

Се самый Дельвиг тот, что нам всегда твердил,
Что, коль судьбой ему даны б Нерон и Тит,
То не в Нерона меч, но в Тита сей вонзил —
Нерон же без него правдиву смерть узрит.

Лицемерие властителя хуже откровенного деспотизма, безнравственнее, и должно, по мысли Дельвига, караться немедленно. В армии эти стихи ходили по рукам. Будучи спрошен о смысле их, Дельвиг не стал бы заперяться.

В своих заметках о Дельвиге Пушкин утверждал, что еще в Лицее Дельвиг «никогда не лгал в оправдание какой-нибудь вины, для избежания выговора или наказания. Он был прямодушен и полагал в этом условии благодетства».

Верховным уголовным судом Дельвиг был занесен в список лиц, причастных к событиям 14 декабря.

13 июля 1826 года, в пятом часу утра, на Кронверкском мосту у Петропавловской крепости в числе малой группы свидетелей казни пятерых декабристов можно было видеть Дельвига. Это тем более удивительно, что время казни сохранялось в глубочайшей тайне. Тем не менее он узнал. От кого? Скорее всего, от А. Д. Боровкова, своего бывшего домашнего учителя, а ныне правителя дел следственной комиссии при Верховном суде над государственными преступниками. Дельвиг виделся с Боровковым в Обществе любителей русского слова, бывал у него дома, писал стихи его жене, своей старой знакомой Е. А. Кильштетовой-Боровковой.

Так или иначе, Дельвиг видел казнь. И рассказал впоследствии об этом Пушкину. Весною 1828 года Пушкин вместе с Вяземским в день Преполовления побывал в крепости. Он поднял с земли пять щепок на том месте, где была виселица.

Дельвиг видел за Пушкина, вместе с Пушкиным. Чтобы не забыть никогда. Зато, когда Пушкин обращался к друзьям:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье...

с его голосом сливался голос Дельвига — слова лицейской песни братства обретали в послании Пушкина новый смысл. Их верность друзьям, их надежды звучали нераздельно.

4

Буря 14 декабря еще сильнее прибила их друг к другу — Пушкина и Дельвига. Современница событий А. П. Керн вспоминает: «Пушкин, узнавши о приезде Дельвига, тотчас приехал, быстро пробежал через двор и бросился в его объятия; они целовали друг у друга руки, и казалось, не могли наглядеться один на другого. Они всегда так встречались и прощались: была обаятельная прелесть в их встречах и расставаниях».

К этому времени относится расцвет альманаха Дельвига «Северные цветы», в котором главные лица — А. Пушкин, П. Вяземский, Е. Баратынский, В. Жуковский, А. Мицкевич.

К этому времени, к весне 1827 года, относится история создания лучшего портрета Пушкина, написанного О. А. Кипренским. Портрет заказал Дельвиг. Он до самой своей смерти был его владельцем. Впоследствии Пушкин приобрел его у вдовы друга.

Дельвига с художниками связывали интересы альманаха и восторженная любовь к искусствам. Как издатель, он стремился к изяществу и простоте оформления: виньеты, шрифт, титульные листы — все исполнялось под его наблюдением. Сотрудничал с Дельвигом художник В. Лангер, лицеист выпуска 1820 года. В 1830 году им создан (для альманаха) тот единственный портрет Дельвига, в котором действительно переданы значительность его духовного облика, его ум и доброта. Дельвиг мечтал после возвращения Пушкина из ссылки украсить альманах его портретом. Ведь Россия не знала в лицо своего первого поэта. Только к первому изданию поэмы «Кавказский пленник» был приложен его детский портрет, гравированный Е. Гейтманом. О. Кипренский, недавно возвратившийся из Италии, был знаменит своими портретами. Он жил в особняке Д. Н. Шереметева на Фонтанке, и сюда приходили к нему заказчики.

В 1825 году был литографирован Г. Греведоном его карандашный портрет Гете, созданный в Мариенбаде, где в 1823 году Кипренский встречался с великим германским поэтом. В портрете художника выразительно подчеркнута красота высоколобого лица Гете, надмирная зор-



кость пророческих глаз, равнодушие к мелочной суетности жизни. Не исключено, что именно этот портрет Гете вызвал у Дельвига желание заказать Кипренскому портрет Пушкина.

В 1827 году Пушкин был в расцвете сил, в зените славы. Кипренский создает портрет гения, любимца муз, как бы прислушивающегося к их зову. Сдержанна его поза; сжаты руки. Щегольской сюртук темен, строг. Тем большую силу излучает лицо, взгляд поднятых голубых глаз. Гармоническая и возвышенная душа сообщает ему черты величавой красоты. Дельвиг мог быть доволен. Это был его Пушкин, тот Пушкин, которому в 15 лет он предрек олимпийскую участь. Это был Пушкин на все времена. Дельвиг высказал только одно пожелание: в правом углу портрета поместить фигуру Музы с лирой в руках. Кипренский выполнил его просьбу. К осени 1827 года портрет был мастерски гравирован Н. И. Уткиным, и «Северные цветы» на 1828 год открылись портретом Пушкина.

Отныне вся Россия связала со стихами Пушкина образ поэта, созданный Кипренским и Уткиным. Пушкин перестал быть только именем.

В эти годы квартира Дельвига (Загородный пр., д. 1) стала одним из литературных центров Петербурга. Здесь почти ежедневно бывал Пушкин, импровизировал фантастические повести А. Мицкевич, Н. М. Языков (поэт, открытый Дельвигом) читал свои пылкие «языческие» ямбы. В этих ямбах воскресал для слушателей «михайловский невольник» Пушкин, так живо явленный в своем бытовом облике:

...И те отлогости, те нивы,
Из-за которых вдалеке,
На вороном аргамаке,
Заморской шляпою покрытый,
Спеша в Тригорское, один —
Вольтер и Гете и Расин —
Являлся Пушкин знаменитый.

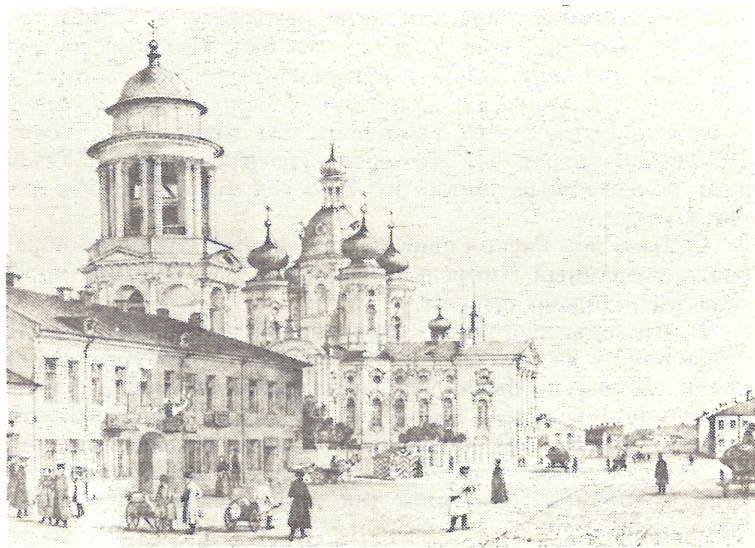
Вечера эти у Дельвигов были музыкальны. Во-первых, пел сам Дельвиг. Образ поющего Дельвига запечатлен всеми его современниками. Он, по-видимому, был одарен хорошим слухом и приятным голосом. Вместе с М. Л. Яковлевым нередко составляли они дуэт. Романсы Дельвига на ноты перелагал чаще всего Яковлев. Рупини, Глинка, Алябьев слышали их впервые именно в исполнении Дельвига.

Русские песни Дельвига составили его бесспорную репутацию у публики. Они не претендовали на воссоздание подлинной крестьянской лирики, но вносили в городской быт ритмы и стилистику народной песни.

«Ноченька», «Не осенний частый дождичек», «Пела, пела пташечка», «Что красотка молодая...» — ныне лишь специалисты помнят, что автором их текста был Дельвиг.

А романсы «Разочарование», «Элегия», «Соловей» дали начало новому жанру русской камерной музыки, оста-

*Петербург. Церковь Владимирской богородицы. Литография Ф. В. Перро.
Около 1840 г.*





А. А. Дельвиг. Акварель К. Шле-
зингера. 1827.



С. М. Дельвиг. Акварель К. Шле-
зингера. 1827.

ваясь непревзойденными образцами произведений этого рода.

Дельвиг никогда не подражал Пушкину, был своеобразен и самостоятелен. Кое в чем он предвосхитил интересы Пушкина. Его интерес к фольклору, гекзаметру и сонету, изучение архаических пластов русской лексики были обусловлены стремлением достичь новых средств художественной выразительности. Пушкин всецело доверял его «необыкновенному чувству гармонии и той классической стройности, которой никогда он не изменял». Излюбленный образ лирики Дельвига — старец, вззирающий на юношей и мудро размышляющий о жизни:

Весело, хоть на мгновенье,
Бахусом наполнив грудь,
Обмануть воображенье
И в былое заглянуть...

Но фокус в том, что не в прошлое, а в будущее (в грядущую старость, которой так и не достиг) — и потом назад, в настоящее, заглядывает юноша, столь зрелый, столь чуждый иллюзий, что способен сказать о смерти с ироническим самообладанием философа:

Мы не смерти боимся, а с жизнью расстаться
нам жалко.
Так с неохотою мы старый меняем халат.

Или:

Сегодня я с вами пирую, друзья,
Веселье нам песни заводит,
А завтра, быть может, там буду и я,
Откуда никто не приходит!



А. С. Пушкин. Автопортрет. Рисунок в альбоме Ел. Н. Ушаковой. 1827—1830-е гг.



А. А. Дельвиг. Рисунок А. С. Пушкина в альбоме Ел. Н. Ушаковой. 1829(?).

Не это ли знание наполняло его отношения с людьми великодушием и приветливостью?

«В его поэтической душе, — свидетельствует А. П. Керн, — была какая-то детская ясность, сообщавшая собеседникам безмятежное чувство счастья, которым был проникнут сам поэт. Этой особенностью Дельвига восхищался Пушкин». Но то, что А. П. Керн представлялось детской ясностью, было сложной и мучительной работой души. Это подозревал Пушкин. Посылая в подарок другу бронзовый пресс, украшенный фигуркой сфинкса, Пушкин присоединил к подарку вопрошающие строки:

Кто на снегах возрастил феокритовы нежные розы?
В веке железном, скажи, кто золотой угадал?
Кто славянин молодой, грек духом, а родом германец?
Вот загадка моя: хитрый Эдип, разреши!

Да, загадка Дельвига заключалась в том, что он был человеком золотого века, человеком, чье лицо, обращенное к друзьям, излучало любовь, веру, одобрение, но чьи горести и утраты скрыты были от всех и переживались наедине с самим собою. Дельвиг знал свою способность одушевлять надежду в людях. Он писал заболевшему П. А. Вяземскому: «Пишите и верьте в мое счастье. Кого я люблю, те не умирают». Вяземский был мало знаком

с Дельвигом и сошелся с ним лишь в 1830 году, в работе по «Литературной газете». Он пишет: «Дельвига знал я мало. Более знал я его по Пушкину, который нежно любил его и уважал. едва ли не Дельвиг был, между приятелями, ближайшая его привязанность».

«Литературная газета», издаваемая Дельвигом в течение года, имела всего сто подписчиков. А болгаринская «Северная пчела» — четыре тысячи. Но «Литературная газета» отстаивала тот уровень издательской культуры, при котором журналист не заигрывал с читателем, подлаживаясь под его еще весьма невзыскательные вкусы, не угодяла официальному мнению, а сохраняла высоту независимого вкуса и чистоту нравственной позиции. Издатели «Северных цветов» и «Литературной газеты» видели свой исторический долг в публикациях декабристов, поэтому на их страницах (пускай анонимно) печатались стихи казненного Рылеева, а из каторжных рудников и застенков пробивались к русской публике голоса В. Кюхельбекера, А. Бестужева и А. Одоевского. Пушкинский «Арион» был ответом этим анонимным голосам. Он появился в 43-м номере «Литературной газеты» в июле 1830 года, через четыре года после казни пятерых «товарищей, братьев». В этой связи особый смысл обретает явление Пушкина:

«„Литературная газета“ была у нас необходима не столько для публики, сколько для некоторого числа писателей, не могших по разным отношениям являться под своим именем ни в одном из петербургских или московских журналов».

10 августа 1830 года Пушкин выезжает из Петербурга. Как и десять лет назад, Дельвиг провожает его до Царского Села. С непривычки рано вставать у него болит голова. Но он весел. Он провожает жениха. Пушкин едет в Болдино вступать во владение наследством. Для него начинается новая жизнь. И Дельвиг хочет пройти с ним рядом первые 35 верст навстречу счастью. Ни он, ни Пушкин не знают, что это их последние совместные шаги по земле. Больше они не увидятся никогда. Пушкина в Болдино запрут на всю осень холерные карантинны. Он возвратится в Москву лишь в начале декабря. На 18 февраля 1831 года назначена его свадьба.

А 14 января 1831 года умрет Дельвиг. И смерть его тоже будет таинственна.

В ноябре 1830 года Дельвиг напечатал в «Литературной газете» четыре строчки стихов французского поэта Казимира Делавиня, посвященные жертвам июльской ре-

волюции в Париже⁹. Дельвиг был вызван в III отделение, к шефу жандармов А. Х. Бенкендорфу. Характер этой встречи воспроизведен в мемуарах А. И. Дельвига:

«В ноябре Бенкендорф потребовал к себе Дельвига, который введен был к нему в кабинет в присутствии жандармов. Бенкендорф самым грубым образом обратился к Дельвигу с вопросом: «Что ты опять печатаешь недозволенное?» Выражение «ты» вместо общеупотребительного «вы» не могло с самого начала этой сцены не подействовать весьма неприятно на Дельвига. Последний отвечал, что о сделанном распоряжении не печатать ничего, относящегося до последней французской революции, он не знал и что в напечатанном четверостишии, за которое он подвергся гневу, нет ничего недозволительного для печати. Бенкендорф объяснил, что он газеты, издаваемой Дельвигом, не читает, и когда последний, в доказательство своих слов, вынув из кармана номер газеты, хотел прочесть четверостишие, Бенкендорф его до этого не допустил, сказав, что ему все равно, что бы ни было напечатано, и что он троих друзей: Дельвига, Пушкина и Вяземского — уже упрячет, если не теперь, то вскоре, в Сибирь. Тогда Дельвиг спросил, в чем же он и двое других названных Бенкендорфом могли провиниться до такой степени, что должны подвергнуться ссылке, и кто может делать такие ложные доносы. Бенкендорф отвечал, что Дельвиг собирает у себя молодых людей, причем происходят разговоры, которые восстанавливают их против правительства, и что на Дельвига донес человек, хорошо ему знакомый. Когда Дельвиг возразил, что собирающееся у него общество говорит только о литературе, что большая часть бывающих у него посетителей или старше его, или одних с ним лет, так как ему всего 32 года от роду, и что он между знакомыми своими не находит никого, кто бы мог решиться на ложные доносы, Бенкендорф сказал, что доносит Булгарин, и если он знаком с Бенкендорфом, то может подавно быть знаком с Дельвигом. На возражение последнего, что Булгарин у него никогда не бывает, потому он его не считает своим знакомым и полагает, что Бенкендорф считает Булгарина своим агентом, а не знакомым, Бенкендорф раскричался, выгнал Дельвига со словами: вон, вон, я упрячу тебя с твоими друзьями в Сибирь!»

Тогда же, 8 ноября, Бенкендорф писал: «Личный мой разговор по сему предмету с бароном Дельвигом и самонадеянный, несколько дерзкий образ его извинений меня еще более убедил в моем заключении».

Да, с Дельвигом битья газетой по носу, как у Аракчева с Гречем, не получилось. Не было, потому что не могло быть никогда.

«Литературная газета» была запрещена 17 ноября. Но Дельвиг не только не оробел, но обжаловал действия всеильного графа. Он потребовал от Бенкендорфа извинений. Просто поразительно это мужество, это умение сохранить достоинство. Сколько пушкинского в поведении Дельвига в эти ноябрьские ураганные дни. «Литературная газета» возобновилась 9 декабря 1831 года. Бенкендорф извинился. Дельвиг победил. Но это была пиррова победа.

Пушкин в Болдине переживает счастливую творческую осень. В письме от 4 ноября он обещает Дельвигу «обильную вассальную подать». Дельвиг верен себе. В «Северные цветы на 1831 год» он предназначает стихи А. Одоевского, в том числе эти:

Утешьтесь! За павших ваш меч отомстит.
И где б ни потухнул наш пламенный жизни,
Пусть доблестный дух до могилы кипит.
Как чаша заздравная в память отчизны.

Пушкин в Болдине начинает новые стихи для Дельвига:

Мы рождены, мой брат названный,
Под одинаковой звездой.

Это развитие темы «19 октября 1825 года». Но теперь Пушкин подчеркивает единодушие с другом, который стал его союзником в борьбе.

Явились мы рано оба
На ипподром, а не на торг,
Вблизи державинского гроба,
И шумный встретил нас восторг.

Он не случайно упоминает смерть Державина. Это намек на те, давние, стихи Дельвига о рыдающих музах, о миссии Пушкина. В 1825 году он противопоставлял поэзию Дельвига — своей:

Но я любил уже рукоплексанья,
Ты гордый пел для муз и для души...

Теперь он соединяет их судьбы в одну — в единый жребий поколения:

В одних журналах нас ругали,
Упреки те же слышим мы...

Он точно слышит беседу у Бенкендорфа, и тот — объединил их имена. Это — обстоятельство времени, Бенкендорф присоединяет еще и обстоятельство места — Сибирь.

Пушкин стихов не дописал. Дельвиг их не прочел.

13 января 1831 года Пушкин уже из Москвы с беспокоеством спрашивает общего их с Дельвигом приятеля П. А. Плетнева: «Что Газета наша? надобно о ней подумать...» Письмо его разминулось с другим. Вот оно:

П. А. Плетнев — А. С. Пушкину. Ночь. Половина 1-го часа. Середа. 14 января 1831. СПб.

«Я не могу откладывать, хотя бы не хотел об этом писать к тебе. По себе чувствую, что должен перенести ты. Пока еще были со мною добрые друзья мои и его друзья, нам всем как-то было легче чувствовать всю тяжесть положения своего. Теперь я остался один. Расскажу тебе все, как это случилось. Знаешь ли ты, что я говорю о нашем добром Дельвиге, который уже не наш!..»

А. С. Пушкин — П. А. Плетневу. 21 января 1831 года.

«Что скажу тебе, мой милый? Ужасное известие получил я в воскресенье. На другой день оно подтвердилось... Грустно, тоска. Вот первая смерть, мною оплаканная... никто на свете не был мне ближе Дельвига».

Нацокину он сказал: «Держись, Воиныч, в наши ряды постреливать стали!» — Он понял, что Дельвиг умер не только от простуды. Еще более определенно выразил он свое предчувствие в «Лицейской годовщине 1831 года»:

И мнится, очередь за мной,
Зовет меня мой Дельвиг милый,
Товарищ юности живой,
Товарищ юности унылой,
Товарищ песен молодых,
Трудов и чистых помышлений,
Туда, в толпу теней родных
Навек от нас утекший гений.

И это пишет женатый, счастливый человек, ожидающий рождения своего первенца? Что за пророчества на пороге новой жизни! Отныне для Пушкина смерть будет местом, где среди толпы родных теней его ждет тень Дельвига. Смерть перестала быть ужасной.

5

В то жаркое лето 1831 года Пушкин все время помнил о Дельвиге. Он предложил друзьям издать «Северные цветы на 1832 год» в пользу малолетних братьев Дель-

вига и его вдовы.хлопоты по сбору материалов он взял на себя. Год был страшный.

В Польше пылало восстание. Холера черной смертью шла по стране, подбиралась к Петербургу. «Литературная газета» прекратилась в июне 1831 года. Друзья были разобщены. Молчали. Пушкин торопил их:

«Осталось два брата, без гроша денег, на руках его вдовы, потерявшей большую часть маленького своего имения. Нынешний год мы выдадим «Северные цветы» в пользу двух сирот».

20 октября у В. А. Жуковского собрались издатели, читались стихи, данные в альманах. Всех поразили стихи Н. Языкова, благодарного «найденыша» Дельвига.

Жил-был поэт. В соблазны мира
Не увлеклась душа его;
Шелом и царская порфира
Пред ним сияли — он кумира
Не замечал ни одного:
Свободомыслящая лира
Ничем не жертвовала им,
Звуча наитием святым.

«Северные цветы» становились венком любви и благодарности своему основателю. Пушкин выпустил в свет альманах, но он чувствовал себя должником Дельвига. В набросках статьи о нем как бы сам себе выговаривал: «Такова участь Дельвига: он не был оценен при раннем появлении на кратком своем поприще; но он еще не оценен и теперь, когда покоится в безвременной могиле».

В 1834 году Пушкин работает над циклом «Песни западных славян»¹⁰. Одно из стихотворений в этом цикле не может не привлечь особого внимания. Это «Соловей». Оно восходит к оригиналу сербской песни из первого тома песен Вука Караджича. Песня эта в оригинале называется «Три величайших печали». У Пушкина в одной из тетрадей списаны 4 строчки сербского текста. Перевод близок к оригиналу. Важно другое — несомненная соотнесенность этой песни с «Соловьем» Дельвига. Незаметный голос малой птицы и великие печали человеческого сердца не противостоят друг другу, а сливаются воедино в чистую мелодию верности и памяти.

Написанное в марте 1836 года стихотворение «Художнику» при жизни Пушкина не было напечатано. В гипсовом мире античных форм, в мастерской скульптора Б. И. Орловского, глядя на его «Сатира с цевницей», Пушкин не мог не думать о Дельвиге, о его грациозных античных идиллиях, столь пластичных и ясных, что

образы их казались скульптурными. «Цефиз», «Купальницы», «Происхождение ваяния»... феокрытовы розы воображения. Пушкин смотрит на произведения Орловского глазами Дельвига:

Грустен гуляю: со мной доброго Дельвига нет;
В темной могиле почил художников друг и советник.
Как бы он обнял тебя! как бы гордился тобой!

Даже гекзаметр в этих стихах произволен: он — ритмическое эхо воспоминаний, он — эхо собственных его шагов по каменным плитам мастерской. Давно ли Дельвиг заказывал Кипренскому портрет Пушкина? Там, в мастерской художника в доме Д. Н. Шереметева, в мае 1827 года поэт позировал, Шереметев играл на фортепьяно, Кипренский работал. В одной всего строке Пушкин воскрешает Дельвига, его благодарную готовность радоваться чужой удаче, его бескорыстную способность гордиться чужим талантом. Близки по настроению к этому стихотворению антологические надписи «На статую играющего в свайку» и «На статую играющего в бабки». Обе эти работы Н. С. Пименова Пушкин видел на выставке осенью 1836 года в Академии художеств.

«Наконец и скульптура в России явилась народная», — сказал Пушкин автору при встрече. Он точно узнал этих юношей, это, одевшись мрамором мышц, стали перед ним греко-российские молодцы Дельвига.

В тридцатые годы Пушкин все чаще обращается мыслью к юности, к Лицею, к Царскому Селу. Настойчивость этих воспоминаний заставляет предполагать, что он искал в прошлом путеводительного знака, опоры для продолжения пути, потому что впереди искать их было невозможно. 14 декабря (!) 1829 года написаны «Воспоминания в Царском Селе», воспоминания о «Воспоминаниях» 1815 года. У Пушкина не было воспоминаний об отцовском доме. «Отечество нам — Царское Село», — сказал он в 1825 году. И вот в это отечество возвращается он, «в семью друзей, которой уже нет». Но священный сумрак садов — прежний. И лебеди на озере — те же.

А 15 декабря 1836 года А. И. Тургенев записал в своем дневнике: «Был у Карамз(иных)... сидел у Аршияка... Обедал у Татар(иновой). Вечер у Пушкиных до полуночи. Дал песнь о Полку Игореве для брата с надписью. О стихах его, Р. и Б.¹¹ Портрет его в подражание Державину: «весь я не умру!» О М. Орл(ове), о Кисел(еве), Ермол(ове) и к. Меньш(икове). Знали и ожидали: «без нас не обойдутся». Читал письмо к Чаадаеву, не послан-

ное. Вот как отметил Пушкин последнюю для себя годовщину рокового дня, 14 декабря. Он говорил о декабристах, он читал свой «Памятник», который Тургенев называет портретом.

Пушкин не предназначал этих стихов для печати. И он не подражал Державину. Он обратился к нему, потому что Державин был — его юность. Как и Дельвиг, поклонник Горация, «не расстававшийся с томом державинских стихов». «Памятник» продиктован желанием ответить Дельвигу на его юношеские пророчества.

В 1967 году вышла в свет замечательная монография академика М. П. Алексеева. Она вся посвящена истории стихотворения «Я памятник себе воздвиг». Вот выдержка из этой работы:

«Замысел «Памятника» вызван мыслью Пушкина о самом близком и бескорыстнейшем из его друзей — А. А. Дельвиге. Именно Дельвиг первым предсказал ему бессмертную славу, именно он был утешителем юного поэта во всех истинных и воображаемых несчастьях, неустанным и верным защитником от критики, провозвестником его будущей блистательной поэтической судьбы. ...«Памятник», в сущности, был ответом на призывы Дельвига...»

Дельвиг умел оставаться в тени, ему это долго удавалось. Почти полтора столетия.





«ИЗВЕСТЕН ВПРЕДЬ...»

К истории создания О. Кипренским портрета А. С. Пушкина



осемнадцатого мая 1827 года Пушкин сообщил из Москвы брату Льву в Тифлис:

«Завтра еду в Петербург увидаться с дражайшими родителями, comme on dit, и устроить свои денежные дела. Из Петербурга поеду или в чужие края, то есть в Европу, или восвоюси, т. е. во Псков...»

Выехав на следующий день, он прибыл в Петербург 24 мая, к величайшей радости лицейского друга Дельвига и собственных родителей. Он не был в Петербурге 7 лет. Юноша, «наводнивший всю Россию возмутительными стихами», за протекшие годы стал властителем дум целого поколения, величайшим поэтом России. За его плечами — две ссылки, написаны южные поэмы, первые песни «Евгения Онегина», «Борис Годунов». Его ровесники и друзья казнены и отправлены на каторгу. Исторический опыт поколения дворянских революционеров стал его личным опытом.

Он вернулся в столицу накануне своего 28-летия. 26 мая в квартире родителей на Фонтанке близ Симеоновского моста отмечали его день рождения. Пушкин, однако, поселился не с ними, а в трактире Демута на Мойке. С Дельвигом он почти не расставался.

К этой первой неделе их общения относится свидетельство некоего А. С. Андреева, преподавателя математики и воспитателя училища правоведения:

«1827 года, в один из дней начала лета я посетил бывшую тогда выставку художественных произведений на Невском проспекте против Малой Морской в доме Таля. В это время была выставлена картина, присланная Кар-

лом Брюлловым из Италии, известная под названием «Итальянское утро»¹.

Уже не первый раз я с безотчетно приятным наслаждением смотрел на эту картину. Казалось, я дышу каким-то мне дотоле неведомым воздухом... С таким чувством я вышел на улицу, и первые особы, мне встретившиеся, был Барон Дельвиг и с ним под руку идущий, небольшого роста, смуглый и с курчавыми волосами². Я с Дельвигом поздоровался, как с хорошо знакомым, и он меня спросил, разве я не знаю его (указывая на своего товарища). Получив от меня отрицательный ответ, он сказал: «Это — Пушкин». Тогда я, от души обрадовавшись, отнеся к Александру Сергеевичу, как уже несколько знакомому, ибо часто до приезда его виделся с его матерью Надеждой Осиповной и сестрою Ольгою Сергеевною.

Одежда на нем была вовсе не петербургского покроя, в особенности же картуз престранного вида... Желая быть долее с Пушкиным, я вместе с ними пошел опять на выставку. Дельвиг подвел Пушкина прямо к «Итальянскому утру». Остановившись против этой картины, он (Пушкин. — *Т. Г.*) долго оставался безмолвным и, не сводя с нее глаз, сказал:

— Странное дело, в нынешнее время живописцы приобрели манеру выводить из полотна предметы, и в особенности фигуры; в Италии это искусство до того утвердилось, что не признают того художником, кто не умеет этого делать.

И, вновь замолчав, смотрел на картину, отступил и сказал:

— Хм. Кисть, как перо: для одной — глаз, для другого — ухо. В Италии дошли до того, что копии с картин столь делают похожими, что ставя одну оборот другой, не могут и лучшие знатоки отличить оригинала от копии. Да, это как стихи, под известный каданс можно их наделать тысячи, и все они будут хороши. Я ударил об наковальню русского языка, и вышел стих — и все начали писать хорошо.

В это время он взглянул на Дельвига, и тот с обычно своею скромностью и добродушием, потупя глаза, ответил:

— Да»*.

Сохранилось весьма немного свидетельств об отношениях Пушкина с художниками, о его впечатлениях от

* «Звенья», «Academia», М.—Л., 1933, № 2, с. 238. Воспоминания Андреева включены в статью Н. С. Ашукина «Пушкин перед картиной Брюллова». (Примечание автора.)

произведений изобразительного искусства. К сожалению, эта сторона духовных интересов Пушкина нам почти не известна. Несомненно достоверные, воспоминания Андреева вызывают целый рой догадок, сама их недостаточность приоткрывает некую новую сторону пушкинской жизни. В самом деле, поэт говорит явно не для Дельвига (на него он взглядывает лишь однажды, в самом конце своего монолога), его суждение о разнице между ремеслом и творчеством, его параллели между трудом художника и поэта горячи и резки. Это как бы продолжение какого-то разговора или спора. Вместе с тем какую осведомленность о жизни и работе художников в Италии он выказывает! Можно подумать, он сам только что вернулся оттуда, а не из Псковской губернии. Значит, был кто-то, искушенный и заинтересованный конфидент, от которого Пушкин получил всю эту информацию, и не исключено, что по его совету поэт отправился на выставку. Ведь суждений о самом полотне Брюллова практически не высказано. Картина — лишь повод для развития мысли, уже оформленной, она — подтверждение этой мысли.

В эти дни только один человек мог говорить с поэтом о всех этих, столь близких обоим проблемах, — Орест Кипренский.

За текстом Андреева открывается некий фон, характеризующий степень близости двух художников, волшебников кисти и слова. Дельвиг присутствовал лишь при начале этих встреч и заручился обещанием Кипренского писать портрет, а Пушкина — ему позировать. Возможно, он присутствовал на одном из первых сеансов в доме Шереметевых. Он был знаком с гр. Д. Н. Шереметевым, их сближала любовь к музыке, оба музицировали, сочиняли романсы.

Но 2 июня 1827 года* Дельвиг с женой и родителями Пушкина уехали в Ревель на все лето. Он возвратился в столицу лишь на исходе сентября.

Из близких друзей Пушкина в Петербурге оставались только Карамзины, однако 19 июня уехали и они.

Для поэта это было тревожное время. Еще в январе началось следствие по делу о его стихах, и как раз в пору завершения работы над портретом, 29 июня, он дает показания по поводу распространяемого в списках сочинения под названием «На 14 декабря»³. Это были исключенные

* Дата устанавливается по письму А. А. Дельвига к П. А. Осиповой от 14 июня 1827 года из Ревеля (Дельвиг. Сочинения, 1893, т. 2, с. 245). (Примечание автора.)



Петербург. Шереметевский дворец на Фонтанке. Акварель Л. О. Премацци. 1867.

цензурой 44 строки из напечатанной элегии «Андре Шенье». Элегия была написана до смерти Александра I, до событий, ставших вехой русской революционной истории, но объективно эти строки действительно звучали как эхо Сенатской площади.

Дельвиг, очевидец казни декабристов, может быть, одному Пушкину в эти напряженные майские дни рассказал о своих неизгладимых впечатлениях⁴. Не тогда ли появился на знаменитом рисунке Пушкина 1826 года со строчкой «И я бы мог как шут...» второй слой изображений — точная и подробная фиксация обстоятельства места: крыша караульной избы, крепостной вал кронверка и на нем, вблизи ворот, виселица с пятью фигурами⁵.

Все это может показаться не имеющим отношения к истории портрета. Но вне этих обстоятельств образ поэта, созданный мастером, не может быть понят.

По положению автографа послания к Кипренскому в третьей Кишиневской тетради (л. 58) он датируется концом июня, первыми числами июля⁶. Послание констатирует окончание работы над полотном. Автограф обнаруживает два обращения к тексту. Первоначальный текст набросан карандашом, а поверх, позднее, правлен чернилами.

Ты вновь создал, волшебник милый...
Меня, питомца (русских) важных (скромных) чистых муз...



Портреты декабристов. Рисунок А. С. Пушкина в рукописи романа «Евгений Онегин». Ноябрь 1826 г.

Портрет назван «чудо-зеркалом», ибо он не только отражение, но и преобразование облика. Пушкин ищет формулу этого преобразования:

Освободил...
Освободясь от смертных уз
Ушел навек

Через девять лет, в августе 1836 года, в своем поэтическом завещании, в «Памятнике», он эту формулу найдет безоговорочно: «Душа в заветной лире мой прах переживет». Заветная кисть Кипренского и заветная лира освободили его от страха смерти: «и я смеюсь над могилой, ушед навек от смертных уз». Заветная лира, кстати, стала композиционным элементом портрета.

В связи с этим необходимо развеять одно историческое заблуждение. В газете «Северная пчела» (1827 г., № 109, примечание), в связи с экспонированием портрета на традиционной трехгодичной выставке в Академии художеств, Булгарин сообщал читателям «дополнительные подробности» об истории портрета.

«По отъезде Пушкина из Петербурга, друзья его советовали художнику украсить картину изображением Гения Поэзии.

— Довольны ли вы портретом? — спросил Художник.

— Довольны.

— Итак, я исполнил ваше желание и изобразил Гения, — промолвил Художник».

При внимательном чтении этого текста бросается в глаза, что диалог художника с друзьями никак не связан с первой фразой «от автора». Уже начало ее «после отъезда Пушкина» свидетельствует о полной неосведомленности Булгарина, когда и как писался портрет. Да ему не это важно. Он хочет извратить смысл где-то подслушанного или переданного ему разговора. Ведь в нем выявлена творческая задача и ее конечный результат. Задача: Вы хотели иметь портрет гения. Результат: Я его создал.

Но Булгарину необходимо навязать широкой публике свою версию: гений не Пушкин, а фигурка в углу полотна, а он, лицо близкое и осведомленное, следовательно, сам вписывается в число друзей и советчиков, указующих «русскому Ван Дику» на необходимость «украсить картину».

Нет сомнения, что замысел портрета сложился у художника сразу, и замысел этот полностью соответствует образу, сохраненному пушкинскими стихами: «Не унижу пристрастья важных аонид».

Все в портрете строжайше выверено. Овал, образуемый полуфигурой модели (линия кудрей, каймы плаща, скрещенных рук), в плоскости своей как бы полуповёрнут к бронзовой музе (кстати, какой же это «Гений», где крылья, где юношеская фигура — это статуэтка девы-аониды, Евтерпы, может быть). Вот он — тот выход фигуры из плоскости полотна, о котором говорил Пушкин перед картиной Брюллова. Малый овал между контуром головы, плеча и складками туники музы усилен световым акцентом: движение света в портрете — от лица Пушкина к музе. К ней точно притягиваются неслышной музыкой пряди его волос. («И быстрый холод вдохновенья власы подъемлет на челе»*), к ней обращен слух поэта, сдержанное движение правой руки (ведь она запишет «божественный глагол»). Характерно, что рука Пушкина, поражающая совершенством формы, ничем не украшена. В отличие от Тропинина, Кипренский не воспроизводит знаменитых пушкинских колец. Это подробности быта, а не духовного бытия.

Раздвоенная прядь волос над высоким лбом приводит на память классический образ Аполлоновых кудрей на его античных изображениях. Искусствоведческий анализ портрета находит исчерпывающее подтверждение в данных технологической экспертизы, проведенной научной лабораторией Государственной Третьяковской галереи в 1982 году. Согласно этим данным, нигде на поверхности полотна не обнаружено двойного красочного слоя, что было бы неизбежным, если бы муза была написана поверх фона, то есть после окончания работы над портретом.

Итак, датировать портрет можно достаточно точно: между 27 мая и первыми числами июля 1827 года⁷.

15 июля адъютант Петербургского генерал-губернатора, приятель Пушкина Н. А. Муханов в письме сообщает брату о встречах с поэтом в Английском клубе и добавляет: «с Пушкина списал Кипренский портрет, необычайно похожий». Очевидно, он в эти дни побывал в мастерской художника и видел там уже готовый портрет.

16 июля Пушкин пишет «Ариона». Эти дни — годовщина казни декабристов — необычайно значительны для него. Он думает об отъезде за границу. По Европе путешествовали его друзья А. И. Тургенев, брат декабриста Николая Тургенева, и В. А. Жуковский.

Недавно исследователь пушкинской эпохи Р. В. Иезуитова сумела прочесть в черновом автографе послания к

* Строчка из послания Пушкина к Жуковскому. 1816. (Примечание автора.)



Кипренскому строчку, не вошедшую в окончательный текст: «И я бы мог...» Иезуитова правомерно включает ее в план «декабристских» настроений Пушкина в пору создания портрета. Сложись иначе судьба поэта, он мог бы быть повешен или оказаться в эмиграции, как Тургенев, но теперь увидит Европа только его портрет.

Так легкий мадригал оборачивается печальным раздумьем о времени, о себе.

С. Шевырев, обозреватель выставки в Академии художеств, на страницах «Московского вестника» противопоставил себя Булгарину, заявив, что он «не собирается сообщать подробного каталога выставленных картин и картиночек, с поучительными замечаниями (разрядка моя. — Т. Г.), каковыми украшены листочки „Северной пчелы“».

Замечаньица, как мы знаем, были не безобидны, а Булгарин был не одинок. В 1830 году некто Бестужев-Рюмин в газете «Северный Меркурий» поместил фельетон, который заканчивался обращением к «российским поэтам»:

«К собранию сочинений и переводов своих вам непременно должно приложить свой портрет, выгравированный искусным художником. Если многие из наших писателей, вовсе еще не заслужившие той чести, чтобы лики их сохранились для потомства, выгравировывают свои портреты — то не приятнее ли будет каждому иметь у себя портрет прелестной женщины или девицы, нежели какого-нибудь рифмотвора, которого подлинная особа хотя

одарена не весьма благообразной наружностью, но которому польстил живописец, а лесть увеличил гравер».

Пушкин начал было опровержение:

«В другой газете объявили, что я собою весьма небогообразен, и что портреты мои весьма льстивы. На эту личность я не отвечал, хотя она меня глубоко тронула».

Эти строки он так и не вставил в статью. Они остались редким для Пушкина откровенным выражением горечи и боли.

Напечатал он послание к художнику, тотчас кто-нибудь из болгаринской стаи улюлюкнул бы: «Кукушка хвалит петуха...» А он любил художника и его создание — портрет. И как всегда, когда любил, таил от всех. В портрете они были оба неуязвимы. А публике оставался объективный обзор Шевырева: «Гений поэта как будто одушевил художника; огонь вдохновения сам изобразился на холсте в чертах его, и художник вполне выразил в его взоре светлый луч высоких творческих дум».





«РАЕВСКИЕ МОИ...»



перва — портрет.

Рукою Пушкина.

В альбоме барышень Ушаковых¹: Москва, осень 1829 года.

Военный с орденом св. Владимира, георгиевским крестом и медалью Отечественной войны 1812 года. Усы. Очки. Длинная бровь доходит почти до виска. Нос длинноватый, немного утиный. Тяжелое нависающее веко. Волосы — ежиком.

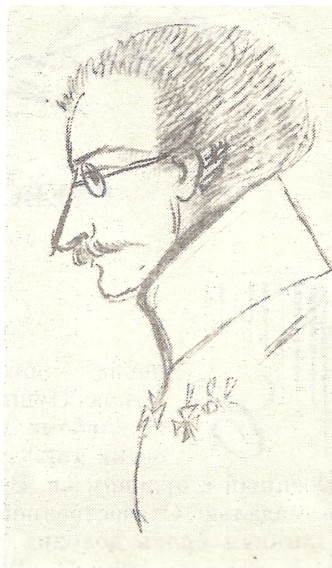
Подбородок, линию носа, контур очков и крупное ухо с широкой мясистой мочкой Пушкин поверх карандаша прошел пером, акцентировал, уточняя пропорции, причем ухо рисовал дважды, добиваясь верности лицевого угла. Кто это?

Гадать, собственно, нечего. Так очевидно схвачено сходство, так похож этот человек на известные нам его портреты: достаточно сравнить пушкинский рисунок с рисунком И. Айвазовского 1840 года. Удивительно другое, — как он не был узнан до сих пор, не назван по имени, Николай Раевский-младший, сын легендарного героя Отечественной войны 1812 года генерала Николая Николаевича Раевского, брат Марии Волконской, брат Александра Раевского — пушкинского «Демона», того, что — один из прообразов Онегина.

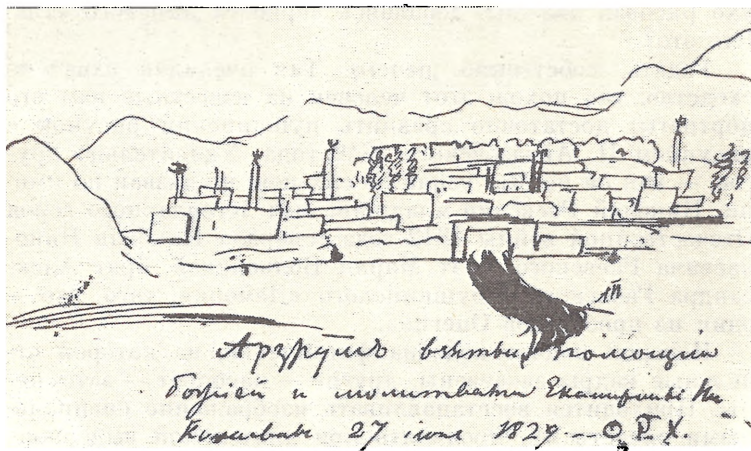
История подчас подобна фотопленке, на которой отдельные кадры засвечены, другие — наоборот — затемнены. Приходится восстанавливать изображение специальными средствами, проявлять при длительной выдержке. Через полтора века начинаешь видеть связи, сразу понимать то, о чем современники в лучшем случае догадывались. Сопряжение разрозненных упоминаний, фокус дистанции внезапно помогают нам установить истину.



Н. Н. Раевский-младший. Рисунок
И. К. Айвазовского. 1840.



Н. Н. Раевский-младший. Рисунок
А. С. Пушкина в альбоме Ел.
Н. Ушаковой. 1829. Атрибуция
Т. Галушко.



Арзум. Рисунок А. С. Пушкина в альбоме Ел. Н. Ушаковой. 1829.



С семьей Раевских привычно связано представление о молодом Пушкине, о первом его южном путешествии. Остальная его жизнь так богата встречами, именами, событиями, что возникает впечатление: Раевские отделились от него, он — от них. Или, как говорится, жизнь их развела. Если и мелькнет кто-либо из них на пушкинском пути, это — эпизод, случайность.

Портрет Раевского в ушаковском альбоме — один из уцелевших кадров хроники, целостность которой я не надеюсь восстановить, но обнаруживаю ее фрагменты вшитыми в совсем иные повествования.

Легче всего начать с этого портрета. Пушкин иллюстрирует для молодежьких приятельниц детнюю свою поездку в действующую армию, на русско-турецкую войну. Вот крепость Арзрум, вот брат Лев Сергеевич, храбрый офицер Нижегородского драгунского полка, адъютант командира, а вот и командир, главный герой этого кавказского путешествия.

История второй в жизни Пушкина встречи с Кавказом, казалось бы, общеизвестна. Ведь она описана им самим. Это «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года», опубликованное в первом номере «Современника» (1836).

Однако ланидарность этих записок удивительна даже для Пушкина. Местами «Путешествие» напоминает конспект, беглый, внешний очерк события, оно — не воспроизведение, а намек на них, при этом недоговоренность

выступает как метод, несказанность — как апелляция к памяти и осведомленности современников. Ни начала — т. е. причины путешествия, ни конца — т. е. следствия его, читатель у Пушкина не найдет.

Вернее, причин найдет даже несколько. И — за пределами пяти глав «путевых записок» Пушкин как бы создает несколько версий для объяснения своего «странствия за Кавказским хребтом».

Они достаточно разноречивы и по-разному мотивированы.

Версии

Версия первая — в черновом автографе Предисловия к «Путешествию в Арзрум»:

«В 1829 году отправился я на Кавказ лечиться на водах. Находясь в таком близком расстоянии от Тифлиса (мне захотелось туда съездить)... я не утерпел, чтоб туда не съездить...»

Версия вторая — для будущей тещи, Натальи Ивановны Гончаровой, в письме к ней от 5 апреля 1830 года:

«...Я полюбил ее (Наталью Гончарову. — *Т. Г.*), голова у меня закружилась, я сделал предложение, ваш ответ, при всей его неопределенности, на мгновение свел меня с ума; в ту же ночь я уехал в армию; вы спросите меня — зачем? — клянусь вам, не знаю, но какая-то непроизвольная тоска гнала меня из Москвы» (разрядка моя. — *Т. Г.*). Это письмо звучит, как страница из «Метели», с ее романтической тайной. «Метель» будет написана через полтора года после отъезда из Москвы, весной 1829-го.

Версия третья — для А. Х. Бенкендорфа и Николая I. Она, эта версия, развивалась во времени, так что стоит показать ее во всем блеске взаимной игры: угроз, уловок, умолчаний, дерзостей. Это целая пьеса.

Действие первое относится к весне 1828 года.

А. Х. Бенкендорф — А. С. Пушкину

«20 апреля 1828 года. Петербург.

Милостивый государь, Александр Сергеевич!

Я докладывал государю императору о желании Вашем, милостивый государь, участвовать в начинающихся против турок военных действиях; его императорское величество, приняв весьма благосклонно готовность Вашу быть полезным в службе его, высочайше повелеть мне

изволил уведомить Вас, что он не может Вас определить в армии, поелику все места в оной заняты и ежедневно случаются отказы на просьбы желающих определиться в оной; но что он не забудет Вас и воспользуется первым случаем, чтобы употребить отличные Ваши дарования в пользу отечества».

А. С. Пушкин — А. Х. Бенкендорфу

«21 апреля 1828 г. В Петербурге.

Милостивый государь, Александр Христофорович!

Искренне сожалея, что желания мои не могли быть исполнены, с благоговением приемлю решение государя императора и приношу сердечную благодарность Вашему превосходительству за снисходительное Ваше обо мне ходатайство.

Так как следующие 6 или 7 месяцев остаюсь я, вероятно, в бездействии, то желал бы я провести сие время в Париже, что, может быть, впоследствии мне уже не удастся. Если Ваше превосходительство соизволите мне испросить от государя сие драгоценное дозволение, то вы мне сделаете новое, истинное благодеяние...»

П. А. Вяземский и Пушкин — Б. Ф. Вяземской

«21—22, 23, 24 и 26 апреля 1828 г. Из Петербурга в Пензу.

...Пушкин с горя просился в Париж; ему отвечали, что как русский дворянин имеет он право ехать за границу, но что государю это будет неприятно.

Грибоедов же вместо Парижа едет в Тегеран чрезвычайным посланником. Я не прочь ехать бы и с ним: но теперь мне проситься нельзя...»

Вел. кн. Константин Павлович — А. Х. Бенкендорфу

«Июнь 1828 (?) г.

Вы говорите, что писатель Пушкин и князь Вяземский просят о дозволении следовать за главной императорской квартирой. Поверьте мне, любезный генерал, что в виду прежнего поведения, как бы они ни старались выказать теперь свою преданность службе его величества, они не принадлежат к числу тех, на кого можно бы было в чем-либо положиться; точно так же нельзя полагаться на людей, которые придерживались одинаких с ними принципов, и число которых перестало увеличиваться лишь благодаря бдительности правительства. Моя ненарушимая преданность к нашему августейшему повелителю заставляет меня сказать вам, любезный Бенкендорф, что вам представляется теперь случай доказать ему и вашу пре-

данность, стараясь всеми вашими силами препятствовать сближению легкомысленной нашей молодежи с этими греческими канальями (извините меня за выражение), так как это сближение могло бы привести к пагубным последствиям. И неужели вы думаете, что Пушкин и князь Вяземский действительно руководствовались желанием служить его величеству, как верные подданные, когда они просили позволения следовать за главной императорской квартирой? Нет, не было ничего подобного; они уже так заявили себя и так нравственно испорчены, что не могли питать столь благородного чувства. Поверьте мне, что в своей просьбе они не имели другой цели, как найти новое поприще для распространения, с большим успехом и с большим удобством, своих безнравственных принципов, которые доставили бы им в скором времени множество последователей среди молодых офицеров».

Антракт почти на год.

В антракте над Пушкиным нависает гроза. Следствие по делу о «Гавриилиаде», юношеской поэме, написанной еще в лицейские годы и получившей распространение в списках.

Дворовые люди штабс-капитана В. Ф. Митькова донесли митрополиту Серафиму, что барин развращает их, читая им богохульные стихи. Вмешался сам митрополит. Митькова арестовали. На допросе Митьков назвал автором поэмы Пушкина.

Дело рассматривала специально созданная комиссия: министр внутренних дел граф В. П. Кочубей, управляющий Главным штабом генерал П. А. Толстой, обер-прокурор Синода кн. А. Н. Голицын, статс-секретарь по Департаменту гражданских и духовных дел, государственный секретарь А. Н. Оленин.

Пушкин на вопросы комиссии отвечал уклончиво и, стало быть, дерзко, что поэму видел в Лицее в 1815—1816 годах, переписал, не помнит, куда дел список, о судьбе списка не ведает³.

28 августа эти ответы прочел царь.

На Записке комиссии Николай пометил: «призвать Пушкина к себе и сказать ему моим именем, что, зная лично Пушкина, я его слову верю. Но желаю, чтоб он помог правительству открыть, кто мог сочинить подобную мерзость...»⁴.

Долгая страшная пауза между этим письмом и днем 16 октября 1828 года, когда он узнал, что дело о крамольной поэме закрыто.

Акт второй.



Петербург. Арка Главного штаба. Литография К. П. Бегрова. 1822.

А. Х. Бенкендорф — А. С. Пушкину

«14 октября 1829 года. Петербург.

Милостивый государь, Александр Сергеевич!

Государь император, узнав по публичным известиям, что Вы, милостивый государь, странствовали за Кавказом и посещали Арзрум, высочайше повелеть мне изволил спросить Вас, по чьему позволению предприняли Вы сие путешествие. Я же, со своей стороны, покорнейше прошу Вас уведомить меня, по каким причинам не изволили Вы сдержать данного мне слова и отправились в за к а в к а з с к и е с т р а н ы (разрядка моя. — Т. Г.), не предупредив меня о намерении вашем сделать сие путешествие.

В ожидании отзыва Вашего для доклада его императорскому величеству имею честь быть с истинным почтением и преданностью, милостивый государь.

Ваш покорный слуга А. Бенкендорф».

А. С. Пушкин — А. Х. Бенкендорфу

«10 ноября 1829 года. В Петербурге.

Генерал!

С глубочайшим прискорбием я только что узнал, что его величество недоволен моим путешествием в Арзрум.

Снисходительная и просвещенная доброта вашего превосходительства и участие, которое вы всегда изволили мне оказывать, внушает мне смелость вновь обратиться к вам и объясниться откровенно. По прибытии на Кавказ я не мог устоять против желания повидаться с братом, который служит в Нижегородском драгунском полку и с которым я был разлучен в течение пяти лет. Я подумал, что имею право съездить в Тифлис. Приехав, я уже не застал там армии. Я написал Николаю Раевскому, другу детства, с просьбой хлопотать мне разрешение на проезд в лагерь. Я прибыл туда в самый день перехода через Саганлу и, раз уж я был там, мне показалось неудобным уклониться от участия в делах (разрядка моя. — *Т. Г.*), которые должны были последовать; вот почему я проделал кампанию в качестве не то солдата, не то путешественника.

Я понимаю теперь, насколько положение мое было ложно, а поведение опрометчиво; но, по крайней мере, здесь нет ничего, кроме опрометчивости. Мне была бы невыносима мысль, что моему поступку могут приписать иные побуждения. Я бы предпочел подвергнуться самой суровой немилости, чем прослыть неблагодарным...»

Заметим: Пушкин оправдывается не в том, что поехал на Кавказ, а в том, что, будучи на Северном Кавказе, не устоял перед желанием посетить Тифлис и т. п.

Бенкендорф Пушкина обвиняет в обмане, в нарушении данного слова, наконец, в неблагодарности. Он подчеркивает, что поэт самовольно оказался в закавказских землях, в армии. Напрашивается предположение, что Пушкин получил у Бенкендорфа устное разрешение ехать на Минеральные Воды для лечения. Это отчасти подкрепляется черновым текстом вступления к «Путешествию в Арзрум» и текстом воспоминаний чиновника III отделения А. А. Ивановского⁵, относящихся, правда, к апрелю 1828 года, когда Ивановский приехал к поэту по поручению шефа жандармов и передал ему приглашение своего начальника.

Ивановский был послан к Пушкину А. Х. Бенкендорфом 21 апреля 1828 года (т. е. на следующий день после письма шефа жандармов поэту, в котором содержался решительный и издевательский отказ следовать за армией и в ее составе на театр военных действий). Видимо, осознав, в какое бешенство приведет поэта сообщение о том, что в «армии все места заняты», Бенкендорф из опасения непредсказуемой реакции Пушкина отправил к нему

«парламентера». В задачу Ивановского вменялось доказать строптивцу, что претензии его незаконны.

С этого Ивановский и начал.

«Вы просили об определении Вас в турецкую армию. Чем же можно определить Вас? Не иначе, как юнкером. Нарушить коренное и положительное правило, то есть переименовать Вас в офицеры, согласитесь, это дело невозможное. Но тут еще не все. Если б и удовлетворили Ваше желание, к чему повело бы оно? Строевая и адъютантская служба — не Ваше назначение».

Далее следовало объяснение, что отказ продиктован заботой о поэте, а не чувством недоверия. Разрешено было польстить, не скупясь на оценки.

«Нет сомнения, что при докладе государю о Вашей просьбе, его величество видел дело яснее и вернее, чем мы, теперь его разлагающие. При том, можно ли сомневаться, чтобы наш великий монарх не знал цены Вашему гению; если только можно в глаза говорить по убеждению; можно ли сомневаться, чтобы сердцу государя не было приятнее сберечь Вас, как царя скудного царства родной поэзии и литературы, для пользы и славы этого царства, чем бросить Вас в дремучий лес русской рати и предать на произвол случайностей войны, не знающих различия между исполинами и пигмеями».

В этом панегирическом монологе, безусловно, слышится симпатия и даже восхищенность самого Ивановского, который отнесся к своей миссии, по-видимому, вполне чистосердечно. Его, видимо, ничуть не смутило поручение шефа тайной полиции сделать поэту поистине ошеломляющее предложение:

«Если бы вы просили о присоединении Вас к одной из походных канцелярий: Александра Христофоровича (!), или К. В. Нессельроде, или И. И. Дибича, — это иное дело (разрядка моя. — Т. Г.), весьма сбыточное, вовсе чуждое неодолимым препятствий».

Итак, Пушкину предоставлялась возможность последовать на войну с походной канцелярией жандармского корпуса или чиновником дипломатической группы при военном штабе. Так бы он был каждую минуту под надзором. И так бы он был резко скомпрометирован в глазах журналистов и читателей.

«Итак, теперь можно быть уверену, что Вы решительно отказались от намерения своего ехать в Париж?.. Александр Христофорович уверен, что Вы сами не одобрите этого намерения...»

И наконец, следует ласковое приглашение лично обсудить с графом Бенкендорфом возможность поездки. Приглашение, впрочем, скорее, приказание.

«Завтра, часов в семь утра (разрядка моя. — Т. Г.), приезжайте к Александру Христофоровичу: он сам хочет говорить с Вами. Может быть, и теперь Вы уладите с ним Ваше дело... Да хранит Вас бог любви и вдохновенья. От всей души желаю, чтоб к завтрашнему дню Вы были совершенно здоровы...»

Разумеется, Пушкин не мог не пойти. К семи часам утра мимоходом не зовут, и сделать вид, что это визит необязательный, или сказаться больным было бы невозможно.

О чем же говорилось 22 апреля 1828 года в III отделении? Можно только предполагать. Но, вне всякого сомнения, Пушкин отверг отеческое попечение и самого графа, и министра иностранных дел, и начальника штаба генерала Дибича, одного из организаторов тайной слежки за поэтом, участника его встречи с царем в Москве в сентябре 1826 года. Можно только догадываться, сколь тягостным было для Пушкина это объяснение с графом Бенкендорфом. Однако именно во время этого визита возник сюжет вероятной поездки не за Балканы, а за Кавказ. В воспоминаниях Ивановского сюжет — поездки «в армию графа Паскевича-Эриванского — в колыбель человеческого рода, в землю св. Ноя, в отчизну зоростратов, Киров и Дариев, где еще звучит эхо библейских, мифологических и древне-исторических преданий...»

Сюжет обсуждался. Что-то на словах почти обещалось. Почти разрешалось. Однако Бенкендорф повел себя так, что ничего окончательного произнесено не было. По-видимому, поминались Кавказские воды, брат в Тифлисе, армия фельдмаршала. Как возможный вариант. В будущем. Пушкин мог считать, что, в принципе, возражений не следует.

Не следует забывать еще одно обстоятельство. В эти месяцы (март — май 1828 года) в Петербурге находится А. С. Грибоедов, приехавший с Туркманчайским договором в столицу и обласканный царем. Вопреки собственным планам, он получает назначение полномочного министра в Персию. Все это время Пушкин встречается с Грибоедовым в обществе, на литературных обедах, в театре, ищет этого общения, соглашается специально для Грибоедова читать у Лавалей своего «Бориса Годунова». Разговоры о поездке на Кавказ, несомненно, ведутся поэтами все это время, скорее всего, именно Грибоедов бе-

А. С. Грибоедов. Рисунок А. С. Пушкина в альбоме Ел. Н. Ушаковой. 1829.



Тифлис. Картина Н. Г. Чернецова. 1839.



рется получить согласие Паскевича. Пушкину куда приятнее быть обязанным за это брату-поэту, чем шефу жандармов. С Грибоедовым же ушло и соответствующее письмо Николаю Раевскому, с которым они были давно знакомы. Зимой 1829 года именно из письма Николая Николаевича (младшего) узнает Пушкин подробности гибели Грибоедова в Тегеране. Это засвидетельствовала А. О. Смирнова-Россет в своих «Записках».

«Ему сообщили, что все бумаги Грибоедова были разгромлены в Тегеране; масса интересных вещей погибла, как, например, его дневник, неоконченная грузинская драма и стихотворения, все это исчезло... Жену он оставил в Таврисе, вероятно, потому, что предчувствовал катастрофу, — она, конечно, тоже была бы убита».

Гибель Грибоедова точно подстегнула хлопоты Пушкина.

Тут генерал Раевский приехал в столицу; после разговора с ним, его писем сыну путешествие в Закавказье стало неотвратимым.

После поездки свое оправдание осенью 1829 года Пушкин строит по строго логическому плану: виновен не в поездке вообще, а в поездке с Северного Кавказа в Тифлис и далее — в армию. Но это не план с заранее обдуманым намерением, а результат сердечного порыва. Уже на Кавказе искушение увидеть брата (семейная привязанность считалась одной из важнейших государственных добродетелей!) привело поэта в Тифлис. А так как армия оттуда выступила — дальше.

Николай Раевский все же упомянут вскользь (на случай пристрастного расследования), как человек, могущий оказать помощь Пушкину в следовании за армией.

Пушкин идет на риск, заявляя в конце письма, что готов принять любую немилость, лишь бы не прослыть неблагодарным. Письмо его представляется образцом непосредственного и простосердечного покаяния. Между тем обе стороны о многом умолчали.

Подорожная Пушкина, выданная 4 марта 1829 года в Петербурге, имсует местом следования Тифлис.

Она отмечена Петербургской городской полицией и подписана почт-директором К. Я. Булгаковым.

9 марта Пушкин покинул столицу.

А 21 марта военный губернатор С.-Петербурга П. В. Голенищев-Кутузов доносил Бенкендорфу: «Об отъезде отсюда в Т и ф л и с (разрядка моя. — Т. Г.) известного стихотворца, отставного чиновника 10 класса Пушкина, состоящего под секретным надзором, довел я до сведения главнокомандующего Грузии графа Паскевича-Эриванского».

Нет, путешествие Пушкина не было тайной. Московский почт-директор А. Я. Булгаков беседовал об этом с братом К. Я. Булгаковым: оба почт-директора не только сами были перлюстраторами, но и свои собственные письма давали читать друзьям и знакомым охотно: так вот А. Я. сообщает К. Я., что видел Пушкина в Москве,

что тот едет в армию Паскевича «узнать все ужасы войны, послужить волонтером, может, и воспеть это все».

Общество обсуждало эту новость на все лады.

Е. А. Баратынский — П. А. Вяземскому

«18/III — 1/IV 1829 г., из Москвы в Пензу.

Пушкин здесь... Он дожидается весны, чтобы ехать в Грузию».

С. Н. Карамзина — Вяземским

«Из СПб. — в Пензу 20/III 1829.

Вы, вероятно, знаете, что Пушкин в настоящую минуту карабкается по Кавказу; это новое безумство, которое взбрело ему в голову; что касается нас, то мы мало сожалеем о его отъезде... Каждое новое известие о нем доказывает, что он никогда не вернется на хорошую дорогу и вызывает огорчение».

Софи Карамзина, как всегда, выражает мнение придворного круга.

Есть и еще одна версия поездки Пушкина в Грузию весной 1829 года. Ее сохранил незавершенный стихотворный набросок поэта:

Я ехал в дальние края
Не шумных жаждал я
Искал не злата, не честей
В пыли, среди копий и мечей (?)
Желал я душу освежить,
Бывалой жизнью пожить
В забвеньи сладком меж друзей
Минувшей юности моей.

Некогда первой редакции своей поэмы «Кавказский пленник» он предпослал немецкий эпиграф из поэмы Гете «Фауст»: «Gieb meine Jugend mir zurück!» («Верни мне мою молодость»). Теперь он действительно хотел вернуться в юность накануне своего 30-летия.

Путь в Арзрум — не проявление азартного поэтического темперамента. Это потребность зрелого духа, слишком долго стесняемого неволей, завершение очередного жизненного цикла. Новый виток спирали. Об этой поездке Пушкин помышлял, вернувшись в Москву из ссылки, еще весной 1827 года. Тогда еще он писал брату Льву: «Завтра еду в Петербург увидаться с дражайшими родителями, comme en dite, и устроить свои денежные дела. Из Петербурга поеду или в чужие края, т. е. в Европу, или восвоюси, т. е. во Псков, но вероятнее всего в Грузию, не для твоих прекрасных глаз, а для Раевского».

Это письмо шло с оказией, и Пушкин был в нем вполне откровенен.

В январе 1829 года генерал Н. Н. Раевский приехал в Петербург хлопотать о прощении сына Александра, высланного за год до того Воронцовым из Одессы⁶. Он надеялся также выяснить, возможно ли обратиться к царю с просьбой о смягчении участи С. Волконского, а стало быть, и дочери Марии. В течение месяца ждал Раевский аудиенции. Все это время Пушкин постоянно виделся с ним. В эти зимние дни, по просьбе генерала, написал он эпитафию умершему в 1828 году в Петербурге сыну Марии — Николушке Волконскому, умилившись и согревшись на минуту растерзанное сердце генерала. 2 марта (через день, 4-го, Пушкин получит подорожную до Тифлиса) Раевский сообщает дочери в Сибирь:

«Хотя письмо мое, друг мой Машенька, несколько заставит тебя поплакать, но эти слезы будут не без удовольствия; посылаю тебе надпись надгробную сыну твоему, сделанную Пушкиным. ...Это будет вырезано на мраморе»⁷.

Аудиенция была наконец получена и оказалась бесплодной для генерала. Николаю Николаевичу больше незачем было оставаться в столице. Силы ему изменили. Он едва доехал до Орловых; у них он слег. Оттуда, из подмосковного имения зятя, 3 апреля он заставил себя наконец написать младшему сыну в Тифлис.

«Я возвращался из Петербурга, мой друг Николушка, и письмо сие в третий раз начинаю писать тебе. Пушкин хотел из Петербурга к тебе ехать, потом из Москвы, где нездоровье его еще раз удержало, я ожидаю его известия, и письмо сие назначено к отправлению с ним»⁸. ...Посылаю тебе шитье генеральское и эполеты, посылаю медали или деньги древние, до коих ты был охотник. Они найдены в земле Калужской губернии.

Ты, мой друг, утешение нашего семейства, коего, как тебе известно, положение довольно грустно во всех отношениях. Брат Александр дурачествами навлек себе и нам огорчений, которые как только дурачествами не заслуживали бы случившихся последствий. Я ездил в Петербург, чтобы представить истину, и хотя был принят с благоволением, но мне сказано, чтоб я о сем не говорил ни слова Государю, ни от него о мнимых неприличных различных разговорах, о коих я писал тебе, следственно всё состоит в esclandre его истории с Воронцовой. И так, прожив больным в Петербурге месяц, я представился и откланялся и через два дня уехал. Теперь ожидаю



*Н. Н. Раевский-старший. Акварель
П. Ф. Соколова. 1826.*



*М. Н. Волконская с сыном Нико-
лаем. Акварель П. Ф. Соколо-
ва. 1826.*

просухи, чтобы возвратиться в Болтышку (имение Раевских. — *Т. Г.*).

Катинька щастлива в своем семействе⁹, муж ее человек бесценной, нам истинный родной, дети премилые, но дела его не в цветущем положении; деревня, в которой он, как заключенный, прескучная, грустная пустыня. Но они здоровы, и Орлова характер в веселости не изменяется.

Машенька здорова, влюблена в своего мужа, видит и рассуждает по мнению Волконских, и Раевского уже ничего не имеет, в подробности всего войтить не могу, и сил не станет, и я писал к ней неделю тому назад...

Мое положение таковое, что я и в деревне чем жить весьма умеренно едва-едва имею и вперед лутчего не вижу, словом всю покрыто самой черной краской...

...Мы встретили праздник (Пасху. — *Т. Г.*) с грустью пополам. Погода сделалась дурная, и нынче снег покрыл опять землю».

Пушкин в Москве задерживался дольше, чем предполагал. Гончарова его держала. Он медлил, сказываясь боль-



А. Н. Раевский. Акварель неизвестного художника. 1820-е гг.

ним, у Орловых. Однако после печального возвращения генерала из Петербурга у них, по-видимому, возник еще один план.

Об этом читаем в письме Екатерины Николаевны Орловой (Раевской) брату Николаю в Тифлис 29 апреля 1829 года:

«Пушкин, который увидит брата Александра, и который только что приехал из Петербурга в Москву, вероятно, расскажет тебе все то, что ты захочешь узнать. Он, конечно, привезет тебе литературные новинки, поэтому я ничего не посылаю тебе в этом роде».

План заключался в намерении Пушкина по дороге на Кавказ заехать в Полтаву к ссыльному Александру Раевскому. Это, конечно, было рискованно и могло иметь грозные последствия. Следы этого дерзкого намерения Пушкина сохранились в его собственных высказываниях. Зимой 1829 года в гостях у А. П. Керн Пушкин сделал стихотворную приписку в ее письме к сестре Елизавете Полторацкой:

Когда помилует нас бог,
Когда не буду я повешен,
То буду я у ваших ног
В тени украинских черешен.

Имение Полторацких — Лубны — под Полтавой, в соседстве с опальным А. Раевским.

Второй глухой намек на посещение Полтавы содержится в первой главе «Путешествия в Арзрум»:

«Мне предстоял путь через Курск и Харьков, но я

своротил на прямую тифлисскую дорогу, жертвуя хорошим обедом в курском трактире и не любопытствуя посетить харьковский университет, который не стоит курской ресторации».

«Предстоял» — был в плане — путь с двумя остановками: Москва — Калуга — Белев — Орел (с заездом к Ермолову)¹⁰, и далее — Орел — Курск — Харьков — Полтава (к Раевскому). Дело было не в курских обедах и не в любознательности осмотреть Харьковский университет. Откуда же известно, что университет курской ресторации не стоит? Концы глухо спрятаны. Дорога к двум опальным затворникам могла привести к собственной ссылке.

И тем не менее... Вот что, например, пишет А. П. Керн о встрече Пушкина с Аркадием Гавриловичем Родзянко, приятелем поэта по «Зеленой лампе» (1818—1819): «Он был в дружеских отношениях с Пушкиным и имел счастье принимать его у себя в деревне Полтавской губернии, Хорольского уезда. Пушкин, возвращаясь с Кавказа (разрядка моя. — *Т. Г.*), прискакал к нему с ближайшей станции, верхом, без седла, на почтовой лошади в хомуте». Принято считать, что А. П. Керн ошиблась и что Пушкин заезжал к Родзянке 3 августа 1824 года, по дороге из Одессы в Михайловское. А что, если Пушкин побывал у Родзянко дважды, и второй раз — во время кавказского путешествия 1829 года? Записки Керн отличает большая точность, слово «Кавказ», видимо, как-то связывалось в ее памяти с приездом Пушкина к ее полтавскому соседу.

Подсчитано, что на дорогу до Владикавказа Пушкин затратил 15 дней. Это на 3 дня меньше, чем время, потребовавшееся на обратный путь...

Помимо желания выполнить просьбу генерала Николая Николаевича Пушкин испытывал личный интерес к событиям в Одессе. Еще 1 сентября 1828 года он спрашивал Вяземского, что думает его жена «о происшествии в Одессе (Раевский и графиня Воронцова)».

Можно не сомневаться, что генерал соответственно отрецензировал Пушкину одесский скандал. Недаром он в черновике письма к царю провел аналогию между сыном и Пушкиным, утверждая: «граф Воронцов на средства неразборчив, что уже доказал прежде (Пушкина история)».

Услышать рассказ обо всем из первых уст Пушкину было очень важно. По сути дела, поступок А. Н. Раевского был расценен как компрометация на высшем уровне,



М. С. Воронцов. Рисунок К. Гампельна. 1820-е гг.



*Е. К. Воронцова. Акварель
Т. Лоуренса. Около 1823 г.*

как потрясение основ. Это не могло не вызвать у Пушкина уважения, даже восхищения «Демоном»¹¹.

Впоследствии, в январе 1837 года, он сопоставит свои действия против Геккерна с давним одесским происшествием: «Я знаю автора анонимных писем, и через неделю вы услышите, как станут говорить о мести, единственной в своем роде; она будет полная, совершенная; она бросит того человека в грязь; громкие подвиги Раевского — детская игра в сравнении с тем, что я намерен предпринять».

Тогда, весной 1829 года, А. Раевский напомнил Пушкину о его ссылке из Одессы в Михайловское.

Из поездки на Кавказ, т. е. на войну, Пушкин не только не делал тайны, но даже сознательно ее афишировал. Гласность смягчала возможную расплату.

Даже в Сибири стало известно о его путешествии. Мария Волконская, осведомленная отцом, писала Николаю 28 сентября 1829 года в Тифлис:

«В моем положении никогда нельзя быть уверенной, что доставишь удовольствие, напоминая о себе. Тем не менее, скажи обо мне Александру Сергеевичу. Поручаю тебе повторить ему мою признательность за эпитафию

Николино. Слова утешения материнскому горю, которые он смог найти,— выражение его таланта и умения чувствовать».

Письмо из Читы шло долго и не застало Пушкина на Кавказе. Но Николай Раевский скопировал эти строки и переслал их другу. (После смерти Пушкина они были найдены в его бумагах.)

Мария не знала, обращаясь к брату, какая громадная беда уже обрушилась на их семью. 16 сентября 1829 года не стало отца...

Поездка Пушкина оказалась исполнением последнего желания генерала, он видел в нем связующее звено между разбросанными по России детьми, которых уже не дано было ему обнять самому.

Выстроенный им идеальный мир большой, дружной семьи оказался утопией: 1825 год разрушил семью и дом до основания. В детях были его надежды. Их отняли, и он умер¹².

1 мая Пушкин выехал из Москвы. Здесь был свой расчет. Десятого мая ждали в Варшаве царя, чтобы возложить на него корону польских королей. Пушкин знал: властям не до него. Дороги просохли. Женитьба откладывалась.

Пушкин ехал на Кавказ в поисках той радости и полноты жизни, которую он изведal некогда, зная: это и есть счастье. «Друг друга мы любили», — сказал он стихами Николаю в 1822 году в «Пленнике»¹³, а в 1824-м тот вдогонку ему, высланному из Одессы в Михайловское, ответил прозой:

«Мне очень хочется тебя увидеть, и если твое положение не переменится, я обещаю тебе приехать к тебе раньше года; а если с тобою последует перемена, то дай мне слово навестить меня тоже раньше года. Прощай, милый друг, сохрани ко мне ту дружбу, которую прежде выказывал, пусть не повлияет на нее наша разлука, какой бы долгой она не была».

Они не виделись 5 лет. Все изменилось. Ничего не изменилось. 1 мая 1829 года, покинув Москву, он вступил в реку времени и двинулся против течения. 1829 год он рифмовал с 1820-м.

«В Ставрополе увидел я на краю неба облака, поразившие мне взоры ровно на 9 лет. Они были все те же, все на том же месте. Это — снежные вершины Кавказа. Пушка, казачий конвой, барабанная дробь зори...»

Разница бывшего и зримого лишь утверждала его верность прошлому.

«По склонам гор стекали минеральные воды, оставляя по себе белые и красноватые следы...»

Теперь, в 1829-м, он вез с собою старинный томик Данте, подарок А. Раевского, купившего этот драгоценный фолиант в завоеванном Париже. Угольная печать с фигуркой дельфина и 3 лилиями свидетельствовала, что книга попала на развал букиниста из библиотеки дофина. Здесь, на склонах Бештау, словно в дантовской преисподней дымилась зловонным сероводородом горные щели. Мир Данте был где-то поблизости, он содрогал горы тайными обвалами, жар подземного пекла хранила вода, которую они пили. Тогда, в записной книжке, подаренной Раевскими, он выписал на языке грозного флорентийца то, что отвечало его собственным думам:

Ed ella a me: nessun maggior dolore
che ricodarsi del tempo felice
nella miseria.

(И она мне: нет сильнее скорби
Как воспоминание о днях блаженства
Во время печали).

И пометил: 26 июля 1820.

Тут искушал его пылкость саркастический и сильный ум Александра Раевского. Теперь прежняя горечь стала печалью. Путевые записки иногда звучали как элегия.

«С грустью оставил я воды и отправился обратно в Георгиевск. Скоро настала ночь. Чистое небо усеялось миллионами звезд. Я ехал берегом Подкумка. Здесь бывало сиживал со мною А. Раевский, прислушиваясь к мелодии вод». Сперва он написал — Н. Раевский. Позднее заменил первую букву имени. Упомянув Георгиевск, он не мог не услышать в нем — эхом — имени Александра Раевского. Станица была его родиной. В 1795 году генерал служил здесь, здесь увидел свет его первенец.

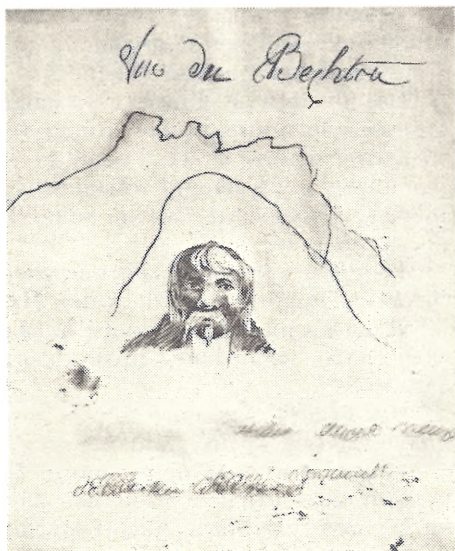
Чистое небо и простор горизонта подкатывали к сердцу мерными и торжественными ударами.

Все тихо — на Кавказ идет ночная мгла,
Восходят звезды надо мною...

22 мая Пушкин достиг Владикавказ. Потом, обрабатывая записки, он снимет возвышенность интонации — свидетельство душевного волнения. Но в пути он писал не сдерживаясь: «Мы во Владикавказе в самом преддверии гор. Снежные горы над нами. Мы окружены аулами. Завтра святилище природы будет нам доступно».

С этого момента он начинает спешить.

Вид горы Бештау. Рисунок из альбома Н. Н. Раевского-младшего.



А. С. Пушкин. Автопортрет в бурке. Рисунок в альбоме Ел. Н. Ушаковой. 1829.



По Военно-Грузинской дороге никому не пришло бы в голову странствовать тогда в одиночку.

Пехотный и казачий конвой сопровождал собравшихся в единый отряд путешественников. Опасность была нешуточная. Осетины из-за утесов Дарьяла, через стремнину Терека, обстреливали путников.

«Медленность нашего похода (в первый день мы прошли только 15 верст) выводила меня из терпения...»

Пушкин то скакал верхом, далеко обгоняя спутников, то шел пешком, не дожидаясь окончания привала конвойных. Он бросал вызов опасности.

На почлеге в Ларсе у коменданта нашел он список «Кавказского пленника». Когда-то он доверительно писал издателю поэмы Н. И. Гнедичу: «Отечественная нежность не ослепляет меня насчет «Кавказского пленника», но, признаюсь, люблю его, сам не зная, за что; в нем есть стихи моего сердца».

Теперь творение встретило своего творца как блудного сына на пороге отчего дома. Пушкин был взволнован.

«Сам не понимаю, каким образом мог я так верно, хотя и слабо, изобразить нравы и природу, виденные мною издали».

Но участь главного героя поэмы виделась ему уже иначе, время уменьшило масштаб, упростило сюжет:

«Горы тянулись перед нами. На их вершинах ползали чуть видные стада и казались насекомыми. Мы различили и пастуха, быть может русского, некогда взятого в плен и состарившегося в неволе».

Как в перевернутом бинокле, все стало далеким, почти будничным, но, превратившись в прозу, не утратило своей печальной отчетливости.

«Нетерпение доехать до Тифлиса исключительно овладело мною. Я столь же равнодушно ехал мимо Казбека, как некогда плыл мимо Чатырдага...»

Путь к Тифлису вызывал кишенье и замирание сердца. Он спешил, потому что хотел оказаться на месте 26 мая, в день своего тридцатилетия, и подарком самому себе — увидеть Николая Раевского. Как девять лет тому назад 26 мая, вечером у своего изголовья в Екатеринославе...

«В Паисанауре остановился я для перемены лошадей... Пошел пешком, не дождавшись лошадей... я дошел до Ананура, не чувствуя усталости. Лошади мои не приходили. Мне сказали, что до города Душета оставалось не более как десять верст, и я опять отправился пешком. Но я не знал, что дорога шла в гору. Эти десять верст стоили добрых двадцати.

Наступил вечер; я шел вперед, подымаясь все выше и выше...

Наконец, увидел я огни и около полуночи очутился у домов, осененных деревьями».

Это был Душет, последняя остановка перед Тифлисом. В полночь кончился день 26 мая. Он провел его в дороге, в одиноком безостановочном восхождении к перевалу. А

завершилась эта ночь почти фарсом. Душетский городничий не хотел пустить его ночевать, топал ногами, кричал...

Лишь к 11 часам вечера следующего дня верхом, «крупной рысью, а иногда и вскачь», Пушкин достиг цели.

Раевского в Тифлисе он не застал.

16 мая армия выступила в поход на театр военных действий.

Третьего июня, уже из Карса, куда маршем вошла армия, Раевский сообщил отцу: «Пушкин в Тифлисе, и, так как он видел вас в Петербурге, я скоро буду знать о Вас все подробности».

«Услуги, вечно незабвенные»

26 мая 1820 года был день счастливый. Поздно вечером в хижину на берегу Днепра, где в жару метался Пушкин, вошли Николай Николаевич Раевский с сыном.

Пушкин рассказал об этом в письме к брату Льву спустя пять месяцев, 24 сентября 1820 года, из Кишинева. Письмо это писано для всех друзей, а не только родне, впрочем, — и для недругов тоже. В нем о факте приезда генерала Раевского в Екатеринослав говорится как об удачном для поэта совпадении, как о счастливой случайности, подарившей ему «счастливейшие минуты жизни». Правда, есть намек на «вечно незабвенные» услуги Николая Раевского-сына, до сих пор не расшифрованный. Датировок нет, фразы построены таким образом, что как бы предупреждают напрашивающиеся вопросы, детально описаны само путешествие, характеры, обстоятельства жизни на Кавказе и в Крыму.

И все же о многом Пушкин умалчивает: Лев Сергеевич знает первую главу этой истории, петербургскую; знают ее и ближайшие друзья; а прочим знать не обязательно и даже вредно.

Обстоятельства высылки поэта из столицы весной 1820 года привлекали внимание многих исследователей. Но есть в литературе некая скважина, ключа к которой даже не подбирали. Недостаточность сведений, неполнота эта касается, впрочем, не главной, политической темы высылки Пушкина, а как бы смещена в частную, личностную область, но все равно ощутима.

Во второй половине марта 1820 года, говоря словами Николая Тургенева, над головой Пушкина нависла гроз-



Н. Н. Раевский-старший. Рисунок А. С. Пушкина в рукописи поэмы «Кавказский пленник». 1821.



Н. М. Карамзин. Портрет работы А. Г. Венецианови. 1828.



В. А. Жуковский. Гравюра Ф. Вендрамини с оригинала О. А. Кипренского. 1816.



А. И. Тургенев. Акварель П. Ф. Соколова. 1816.

ная туча. В обществе повторялась царская угроза сослать поэта в Сибирь за то, что он «наводнил Россию возмутительными стихами».

Но может быть, впервые в России заявило о себе общественное мнение — вещь, неслыханная в условиях самодержавия. Не только друзья семьи Пушкиных — Н. М. Карамзин, В. А. Жуковский, А. И. Тургенев, но люди правительственной ориентации — директор Лицея Е. А. Энгельгардт, военный генерал-губернатор Петербурга граф М. А. Милорадович, офицеры, государственные мужи, писатели, актеры — все стали на защиту молодого поэта.

Для Александра I это было неожиданно и неприятно. И он — уступил. Но уступил под натиском явно превосходящей силы. Шутка сказать — за Пушкина выступили даже доверенные лично близкие царю вельможи, И. В. Васильчиков и фактический министр иностранных дел граф И. А. Каподистрия. Друзья поэта, однако, не увидели истинного масштаба происшествия. Каждый из них считал себя спасителем Пушкина: Н. И. Гнедич, в слезах умолявший А. Н. Оленина выручить автора «Руслана и Людмилы», Н. М. Карамзин, которого Чаадаев «насилу заставил обратиться к государыне», Ал. Тургенев, сообщавший брату Сергею: «он из беды, в которую попал, спасен моим добрым гением (разрядка моя. — *Т. Г.*) и добрыми приятелями».

Ал. Тургенев говорил с Каподистрией и, действительно, не столько просил, сколько выдвинул конкретный план спасения Пушкина: «Участь Пушкина решена. Он завтра отправляется курьером к генералу Инзову и останется при нем». Это написано Тургеневым 5 мая 1820 года. Его план удался. Пушкин покидал столицу не в качестве ссыльного, а уезжал с почетным поручением доставить попечителю южных колонистов приказ о новом, высоком назначении. Генерал-лейтенант Инзов становился полномочным наместником Бессарабской области. Поэт даже получил, благодаря ходатайству гр. Каподистрии, 1000 рублей курьерских прогонных.

Но это было не все. Он вез с собою И. Н. Инзову письмо от гр. Каподистрии о самом себе. И в этом письме говорилось: «его покровители полагают, что раскаянье его искренне... Отвечая на их мольбы, император уполномочивает меня дать молодому Пушкину отпуск и рекомендовать его вам. Он будет командирован к вашей особе, генерал, и будет заниматься в вашей канцелярии, как сверхштатный».



Пушкин числился в службе по ведомству гр. Каподистрии, в коллегии иностранных дел. Граф, отсылая его к Инзову, оговорил, что дает ему отпуск. Перемещение генерала Инзова со всей его канцелярией из Екатеринослава в Кишинев, обоснование в новой должности и на новых условиях не могли произойти быстро. Это требовало времени. В Петербурге знали об этом. В конце апреля Пушкин получил предложение, несказанно его обрадовавшее. Николай Раевский собирался к отцу в Киев, где генерал служил командиром 7-го кавалерийского корпуса, а оттуда — в Крым. К ним должны были позже присоединиться мать и старшая, болевшая в петербургском климате, сестра Екатерина.

Первое, довольно глухое, упоминание об этом спасительном плане мы находим в письме Пушкина к П. А. Вяземскому в Варшаву:

«21 апреля Санкт-Петербург.

...Петербург душен для поэта. Я жажду краев чужих; авось полуденный воздух* (разрядка моя. — Т. Г.) оживит мою душу».

А через день, 23 апреля, Николай Тургенев извещает в Одессе брата Сергея:

«Пушкина дело кончилось очень хорошо. У него требовали его оды и стихов. Он написал их в кабинете графа Милорадовича... Он теперь собирается ехать с молодым Раевским в Киев и Крым» (разрядка моя. — Т. Г.).

* Выражение «полуденный воздух» для Пушкина — символ, синоним Крыма, Тавриды. См. все случаи употребления по «Словарю языка Пушкина». (Примечание автора.)

6 мая Пушкин покидает столицу, а 7-го старшая дочь генерала Раевского Екатерина пишет в Киев брату Александру: «Это письмо посылаю по почте. Мама забыла послать его с Пушкиным». Следовательно, в день отъезда или накануне Пушкин был у жены генерала, прощался, брал почту. Это подтверждается тем, что генерал уже из Пятигорска упрекает дочь: «Где ты, милая дочь моя, Катенька?.. последнее (от вас известие) имел в Киеве от 6-го мая». Имени Пушкина генерал не упоминает во все время летней переписки с семьей, но дата однозначна. Письмо от 6 мая — то, что не доставил в Киев 14 мая Пушкин.

О том, что поездка на юг с семьей Раевских не была экспромтом, свидетельствует еще одно письмо. Письмо Н. М. Карамзина И. И. Дмитриеву от 7 июня 1820 года. Общество обсуждало все это время участь Пушкина. И Карамзин спешит успокоить московского друга: «Его простили за эпиграммы и за оду на вольность: дозволили ему ехать в Крым (разрядка моя. — Т. Г.) и дали на дорогу 1000 рублей...»

Известно было даже, на какой срок отпустили Пушкина. Тот же Карамзин 17 мая сообщал П. А. Вяземскому: «Пушкин дал мне слово уняться и благополучно поехал в Крым месяцев на пять».

Возможно проследить по числам движение Пушкина на юг. Через неделю, точнее, на восьмой день пути, 14 мая, Пушкин уже в Киеве у Раевских. Здесь на семейном обеде его знакомят с братьями генерала — А. Л. и В. Л. Давыдовыми. 16-го он опять в пути и 18-го прибывает в Екатеринослав. Все эти даты установлены М. А. Цявловским, перепроверившим для своего труда «Летопись жизни и творчества Пушкина» датировки Н. О. Лернера («Труды и дни Пушкина»).

Итак, 18-го Пушкин прибывает к месту своего назначения, а уже 19-го из Киева выезжает генерал Раевский с сыном Николаем и младшими дочерьми.

Эту дату — 19 мая — указывают доктор Рудыковский (домашний врач Раевских) и сам генерал. В письменно-дневнике для дочери Екатерины он фиксирует все вехи своего путешествия: «Выехал я 19-го, двадцать первого ночевал в Смеле (имение Раевских. — Т. Г.), отпустил сестер (Марию и Софью. — Т. Г.) поутру в Каменку (к их бабушке Е. Н. Давыдовой. — Т. Г.), сам же поехал в Сунки для некоторых испытаний на винном заводе и приехал к матушке вечером (22-го же, т. е. тоже в Каменку. — Т. Г.). Из сего начала ты видишь, мой друг, что

я пишу род журнала, род, потому что для оногo не довольно подробно, а для письма слишком обстоятельно и длинно. Я выехал из Болтышки (двадцать четвертого, т. к. 23 утром из Каменки генерал выехал в Болтышку, где и ночевал с 23 на 24), после ночлега позавтракал у А. И. Величковой и пустился в путь. В Елисаветграде остановился (25-го) у Фундуклея, где нашел доктора Бетриха. Из Елисаветграда (26-го) ехал я некоторое время Николаевской дорогой, потом повернул вправо на Екатеринославль ввиду Днепра нагорным берегом, места прекрасные, река излучистая, во всей своей красоте.

В Екатеринославль приехал в десятом часу ночи (26 мая) к губернатору Карагеоргию, который имел удар от паралича». Снова ни словом генерал не упоминает Пушкина.

Доктор Рудыковский дополняет (в своем рассказе П. И. Бартеневу, через много лет) скупую хронику старшего Раевского: «Оставив Киев 19 мая 1820 года, я в качестве доктора отправился с генералом Р. на Кавказ... Едва я, по приезде в Екатеринославль, расположился после дурной дороги на отдых, ко мне, запыхавшись, вбегает младший сын генерала. — Доктор! Я нашел здесь моего друга; он болен, ему нужна скорая помощь, поспешите со мною...

Поутру гляжу — больной уж у нас; говорит, что он едет на Кавказ вместе с нами».

Раевские подарили Пушкину не только Кавказ и Крым 1820 года, — они подарили ему пожизненную страсть к дороге, навсегда сделав его очарованным странником, уверявшим впоследствии, что путешествия нужны ему «нравственно и физически».

Огромные пространства, расстилавшиеся им навстречу, питали и воспитывали жадное зрение и отзывчивую душу поэта.

Из письма генерала дочери Екатерине

«3/IV — 6/IV 1820.

Тут Днепр только перешел свои пороги, посреди его каменистые острова с лесом, весьма возвышенные, берега также местами лесные; словом, виды необыкновенно живописные, я мало видал в моем путешествии, кои бы мог сравнить с оными.

За рекой мы углубились в степи, ровные, одинакия, без всякой перемены и предмета, на котором мог бы взор путешествующего остановиться, земли способные к плодородию, но безводные и посему мало заселенные. Они



*И. Н. Инзов. Шуточный рисунок
А. С. Пушкина. 1821.*



*А. Н. Раевский. Портрет работы
неизвестного художника. 1821.*



*Ек. Н. Раевская-Орлова. Портрет
работы неизвестного художника.
1820-е гг.*



*М. Н. Раевская. Портрет работы
неизвестного художника. 1821(?).*

отличаются от тех, что мы с тобой видали, множеством травы, ковылем называемой, которую и скот пасущийся в пищу не употребляет, как будто почитает единственным их украшением.

Надобно признаться, что при восходе или заходе солнца, когда смотришь на траву против оного, то представляется тебе «чистого серебра волнующееся море».

Восторг генерала разделяли его спутники. Как не вспомнить, читая это описание, что много лет спустя именно Пушкин советует Гоголю включить в «Тараса Бульбу» описание заднепровских степей!

Генерал — сам в душе поэт.

Вот откуда его нежность к Пушкину, его отеческая гордость гениальным юношей, его ирония.

Из письма Н. Н. Раевского дочери Екатерине

«Чтобы рассмешить тебя, мой друг, напомню песенку, мной сочиненную девице Пеленкиной и тебе известную, в которой назвал я ее Лизетой, потому что к ее имени, т. е. Алены, я рифмы приискать не мог...»

Из рассказа М. Н. Волконской (Раевской),
записанного П. И. Бартевым

«Раевского всюду встречали с большим почетом; в городах выходили к нему навстречу обыватели с хлебом и солью. При этом он, шутя, говаривал Пушкину: „Прочти-ка им свою Оду. Что они в ней поймут?“»

Из письма генерала Н. Н. Раевского
дочери Екатерине

«В Аксах должен был я переправляться через Дон; послал тотчас письмо атаману Денисову, что буду назавтра к нему обедать, и куда все гурьбой (разрядка моя. — Т. Г.) на утро отправился. Новый Черкасск основан Платовым, — город весьма обширный, регулярный, но еще малонаселенный, на высоком степном месте, на берегу реки Аксай, которая теперь в половодье разливами соединяется с Доном, но различить их весьма можно по разности цвета воды. Пообедав, выпросил шлюпку и поехали назад водой. Вообрази ты себе берег нагорный, с разнообразными долинами, холмами, рощами, виноградными садами, и застроенный непрерывными дачами на расстоянии сорока верст, в степном уголку земного шара, — ты можешь легко представить чувства смотрящего на сии картины человека, коего сердце к приятным чув-



Н. Н. Раевский-младший. Портрет работы неизвестного художника. 1821.



Ел. Н. Раевская. Портрет работы неизвестного художника. 1820-е гг.

ствам открыто быть может. Мои все были в восхищении, и я был бы также, когда б вы были со мной и здоровы.

(В старом Черкасске) обойдя все, что там есть достойного, отправились мы на левый берег Дона и приплыли в Азию в одно время с нашими каретами».

Человек XVIII столетия, созерцатель, мудрец, каким масштабом зрения он наделен!

Степи подзорного простора видятся ему лишь «уголком земного шара», а переправой через реку обозначен раздел двух частей света.

Путешествие этой семьи выглядело движением берегаемого роком ковчега, в котором отношения простоты, дружелюбия, взаимного восхищения подчеркивались огромным почетом, окружавшим имя генерала Раевского на всем их пути.

А. П. Ермолов — атаману
Черноморского казачьего войска Матвееву

«Если генерал Раевский, знаменитый заслугами своими, сам отзовется с похвалою на счет ваш, похвала его сделает вам много чести».

Пушкин мог бы повторить слова К. Батюшкова: «Раевский очень умен и удивительно искренен, даже до ребячества». Генерал после контузии был глуховат и по-

тому говорил громко, что сообщало его речи некоторый пафос, этому не противоречила, однако, насмешливость, весьма едкая. Недаром Батюшков заметил в нем много сохранившейся детскости. Прямота его подчас бывала и жестока, как у ребенка.

Пушкину казался идеальным климат этого семейства, где острота ума и независимость суждений не отменяли, а были условием взаимного уважения и любви. Это жителенное поле любви он, никогда не знавший семейного тепла, чувств дома, ощущал с особой ненасытностью.

Острота его состояния питалась почти музыкальной гармонией, простиравшейся вокруг цветущей девственной природы, которая, казалось, лелеяла их странствие. И невольно приходило на ум, как точно поэты XVIII века именovali природу — натурой.

Н. Н. Раевский — дочери Екатерине
(Продолжение письма 22 июня 1820 года)

«...сильная гроза и дождь заставили меня остановиться ночевать за сорок верст от Георгиевска, куда я отправил кухню, и на другой день приехал на готовый обед в дом генерала Сталя, начальника Кавказской линии. Тут я обедал, ходил по городу, но не нашел и следов моего жилища и места рождения брата твоего Александра, запасся всем нужным, переночевал, и на другой день приехал на Горячие воды в нанятый для меня дом».

В этом же доме ждал отца старший сын, приехавший сюда прямо из Киева уже с неделю.

Шестого июня Николай посылает матери в Петербург первое письмо:

«Милая маменька, мы очень хорошо доехали, хотя очень устали из-за тряской дороги. Здесь у нас отличная компания: брат, Фурнье и Пушкин. Надеюсь, вы не будете слишком долго задерживаться в Царском Селе...»

С Горячих вод Раевские и Пушкин переехали 2 июля на склон Бештау близ Железноводска.

К описанию первого кавказского путешествия Пушкина ни разу не привлекался один любопытный бытовой документ, свидетельствующий о жизни Раевских на горном биваке.

В рукописном пушкинском фонде Института русской литературы АН СССР хранится альбом Николая Раевского с его рисунками. Альбом лета 1820 года. Листаешь его, и оживают пушкинские впечатления: воочию видишь то, что описывал Раевский-старший в письмах к дочери: «Вот четвертый день, как мы здесь...купаемся не-

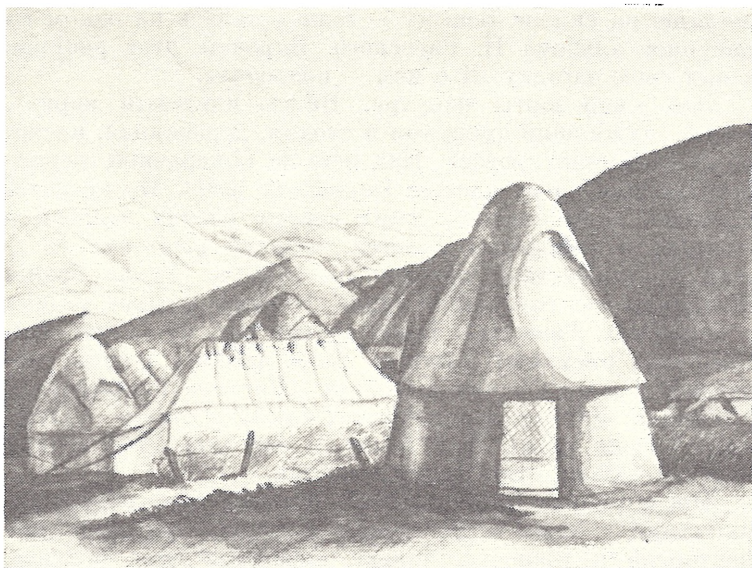
много, пьем воду. Здесь мы в лагере, как цыгане, на половине высокой горы. Десять калмыцких кибиток, 30 солдат, 30 казаков, генерал Марков, генерал Волконский, три гвардейских офицера составляют колонию. Места так мало, что 100 шагов сделать негде — или лезть в пропасть, или лезть на стену. Но картину перед собой имеем прекрасную».

В альбоме почти все рисунки сделаны карандашом. И лишь изображение лагеря на склоне Бештау — акварель. На первом плане калмыцкая кибитка, в которой живут Раевский и Пушкин. За ней длинная палатка — для солдат и казаков. Видны купола еще восьми юрт. Трава, облака, соседние вершины почти в уровень с лагерем этого своеобразного «водяного общества».

Здесь писался эпилог «Руслана и Людмилы».

Забывтый светом и молвою,
Далече от берегов Невы,
Теперь я вижу пред собою
Кавказа гордые главы.

Лагерь на склоне горы Бештау. Акварель из альбома Н. Н. Раевского-младшего.



Над их вершинами крутыми,
На скате каменных стремнин,
Питаюсь чувствами немymi
И чудной прелестью картин
Природы дикой и угрюмой...

И впрямь, холодная гамма альбомной акварели угрюма и сурова.

Девять лет спустя, на страницах «Путешествия в Арзрум», Пушкин оставит маленькую новеллу о калмыцкой девушке; казалось бы, это беглое путевое впечатление не имеет отношения к движению по Кавказу, и Пушкин, поначалу уделивший ему много места, в беловом варианте сокращает этот эпизод, снимая слишком личный и чувственный колорит.

Благодаря рисункам в альбоме Н. Раевского представляется возможным определить смысл этого фрагмента, как некой временной рифмы, своеобразного рефрена.

В альбоме Раевского привлекает внимание портрет молодой калмычки с длинными косами, брошенными на грудь. Этот портрет точно иллюстрация к эпизоду, который будет записан через многие годы. Да и сама калмыцкая кибитка («клетчатый плетень, обтянутый белым войлоком» — личное давнее впечатление Пушкина) — их жилище на склоне Бештау — тоже осталась на одном из рисунков альбома Н. Раевского. Впрочем, этот рисунок имеет свою загадку. И о нем — подробнее.

Это — вид юрты изнутри. Виден плетеный каркас, ящик, служивший сундуком и столом, деревянная, наскоро сколоченная кровать. Над нею на поперечной жерди-перекладине висит одежда (шкафа-то нет!). На кровати, прикрыв лицо платком, спит поверх одеяла человек в сюртуке и узконосых сапогах. Сюртук штатский, модный, с множеством пуговиц по разрезу. Узкие брюки вздернуты над голенищем сапог. Темный затылок утонул в подушках. Раевский, точно дразня нас, не делает надписи под рисунком. Спящий явно невелик ростом, небрежен и вместе с тем щеголеват. Котенок прикорнул у его колен. Кто он, этот спящий? Соблазн ответа — Пушкин — очень велик. Тем более, у нас есть один веский довод в пользу этого предположения.

После смерти Пушкина в его бумагах была обнаружена копия с этого — да, только с этого — рисунка. Все повторено в точности, только карандаш чуть бледнее, ножки кровати рисованы по линейке, а травка под ними не нарисована совсем. И платок на голове еле заметен.

В конце прошлого века этот рисунок-копию приобрел

Портрет молодой калмычки. Рисунок из альбома Н. Н. Раевского-младшего.



Вид калмыцкой юрты изнутри. Рисунок из альбома Н. Н. Раевского-младшего.



в Париже знаменитый собиратель-пушкинист А. Ф. Отто-Онегин.

Ныне оба, рисунок-копия и альбом Н. Раевского, вновь соединились в составе пушкинского фонда ИРЛИ АН СССР.

Почему сохранил Пушкин этот неумелый карандашный набросок, слабый след минувшей юности? Он-то

знал, конечно, спящего человека. И мы, увидевшие благодаря рисунку остановленное мгновение их жизни, бивачной, неприбранной, и от этого куда более яркой и неповторимой — невозвратной! — о, как мы понимаем печальную силу пушкинских строк, относящихся к 1829 году:

«Признаюсь: кавказские воды представляют ныне более удобностей; но мне было жаль прежнего дикого состояния; мне было жаль крутых каменных тропинок, кустарников и неогороженных пропастей, над которыми, бывало, я карабкался».

«При свете утренней Киприды...»

В сентябре 1823 года поэт В. Туманский писал в Петербург из Одессы А. Бестужеву: «Скажу тебе, любезный Бестужев, что мы уже лишились поэта Пушкина, но что в замену у нас есть Пушкин-живописец. Ему на все счастье — и теперь его карандаш столь же хорошо рисует древний антик Гнедича, сколько перо его описывало первую ночь Людмилы или последние свидания пылкой черкешенки. Прилагаю вам, в доказательство нового его таланта, портрет Гнедича, желая, чтобы он отнесен был в нашу богатую академию».

Даже из этого шутливого сообщения видно, что современники признавали поразительный талант Пушкина-рисовальщика.

Пушкин любил рисовать. Он легко запоминал лица. А еще лучше — то, что сквозь них проступало. Его память была заполнена неуловимыми мгновениями лиц. Он воспроизводил на полях своих рукописей образы современников, но это были не только портреты, а еще и образы его любви, ненависти, презрения, тайного поклонения. Ни годы, ни расстояния не ослабляли яркой отчетливости этих образов. Они жили в нем одушевленной жизнью художественных созданий. При этом его жизненный опыт как бы все время корректировал и совершенствовал зрительное и чувственное воспоминание.

Пылкий и безудержный, он умел быть неуловимым там, где речь шла о конкретном имени или обстоятельстве. Его стихи выражали все, но ничего не выдавали. И только рисунки, эти беспощадные самопризнания, внезапно озаряют, обнажают подтекст реально существовавших или только его воображением созданных отношений и связей.

Выдающиеся советские пушкинисты А. С. Эфрос, Б. В. Томашевский, Т. Г. Цявловская заложили основы изучения пушкинского рисунка, блестяще опознали большинство портретов и дали к ним исчерпывающий научный комментарий.

В этой главе предлагается несколько догадок относительно портретов одной из современниц поэта.

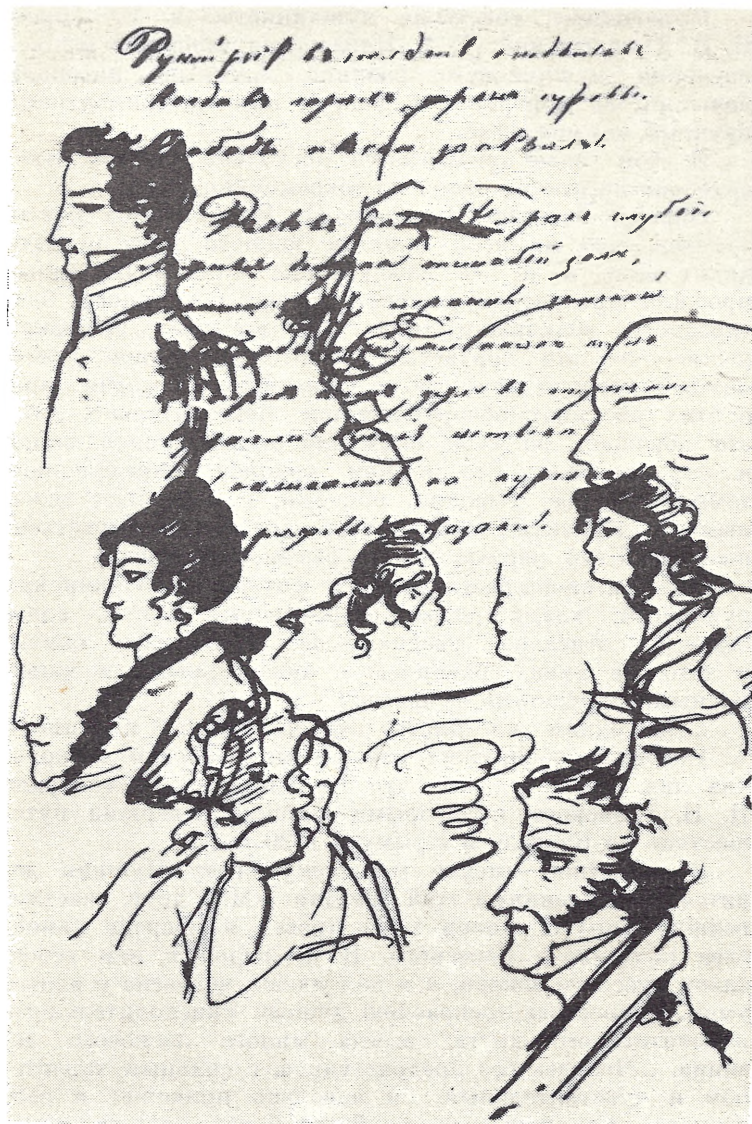
Первый биограф Пушкина П. В. Анненков как-то заметил, что по всем бумагам южного периода проходит одно и то же изображение — «многочисленные профили прекрасной женской головы спокойного, благородного, величавого типа». Он высказал предположение, что эти портреты относятся к тайной любви поэта, о которой он нигде не упоминает и которая лишь в этих рисунках обнаруживается. Действительно, лицо это обращает на себя внимание мужественной силой и страстностью. Все в нем крупное, определенное, темпераментное: высокий, покатый, с несколько тяжелыми надбровьями лоб, крутой подбородок, чувственный изгиб губ, черные локоны высокой прически.

Вновь и вновь разглядываю я фотокопии пушкинских рукописей, кладу рядом разрозненные листы, сопоставляю отдельно увеличенные фрагменты одного и того же лица, сравниваю с акварельными и живописными портретами, — чьими?!

...На одном из листов «Кавказского пленника» А. С. Эфрос обнаружил портретные наброски нескольких лиц. Он определил, что это члены семьи генерала Н. Н. Раевского, с которыми Пушкин совершил путешествие по Кавказу и Крыму в 1820 году.

В известном письме младшему брату Пушкин делится впечатлениями этой поездки: «Мой друг, счастливейшие минуты жизни моей провел я посреди семейства почтенного Раевского. Я не видел в нем героя, славу русского войска, я в нем любил человека с ясным умом, с простою прекрасною душою: снисходительного, попечительного друга, всегда милого ласкового хозяина. ...Человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого... Старший сын его будет более, нежели известен. Все его дочери — прелесть, старшая — женщина необыкновенная. ...Друг мой, любимая моя надежда — увидеть опять полуденный берег и семейство Раевского».

В рукописи «Кавказского пленника» он изобразил генерала и его детей — романтически-красивого Нико-



Портреты членов семьи Раевских. Рисунки А. С. Пушкина. 1821.

лая, скептического Александра, нежную Елену, поэтическую Марию, надменную и прекрасную Екатерину. В центре страницы он нарисовал самого себя. Автопортрет неудачен, зато очень выразительны портреты Раевских.

В левой верхней части листа — профиль Екатерины, старшей дочери генерала. Тяжеловатый подбородок еще девически нежен, но крутой лоб, твердая резкая линия носа, длинная бровь и неукротимый локон над ней — характерны и решительны. Если в Марии все легкое, летящее, острое, как ее бровь, которая похожа на ласточкино крыло, то в старшей сестре, напротив, все уже сложилось, все определено раз и навсегда.

Уже в первом этом ее портрете Пушкин нашел зримый образ своего к ней отношения. Я называю его «страстью к недоступности».

Во время поездки по Кавказу Екатерины не было. Она болела и вместе с Еленой и матерью должна была из Петербурга приехать в августе в Крым.

В том же письме от 24 сентября 1820 года Пушкин рассказывает брату: «...морем отправились мы мимо полуденных берегов Тавриды и в Юрзуф, где находилось семейство Раевского. Ночью на корабле написал я Элегию... отошли ее Гречу без подписи».

Сколько раз пыталась я представить себе женщину, к которой восторженно и благодарно обращается Пушкин в ночном море, при визге чаек и скрипе парусов.

Я вижу берег отдаленный,
Земли полуденной волшебные края;
С волнением и тоской туда стремлюся я,
Воспоминаям упоенный...

Сколько раз удивлялась: почему тоску и волнение, упоительные воспоминания вызывают в нем места, где никогда прежде он не бывал?!

Как я не понимала! — ведь он вспоминает не Крым, а ту, что сейчас в Крыму, с которой завтра встретится. Нестерпимая напряженность ожидания разрешается сосредоточенным покоем вдохновения. Полнота воображения, как полнота шумящих парусов, сообщает томлящейся душе радость движения, широкого и стремительного. И одновременность этих состояний — покоя и полета, — парение — очищает кровь, возрождает способность любить и плакать.

И чувствую: в очах родились слезы вновь;
Душа кипит и замирает;
Мечта знакомая вокруг меня летает;
Я вспомнил прежних лет безумную любовь...

Вспомнил, потому что — воскресла, потому что душа приняла форму «знакомой мечты», как принимает вчера еще бесплодное море форму грозородящих облаков. Обстоятельства жизни, обстоятельства творчества предстают ему в новом свете: ссыльный невольник, он провозглашает изгнание — побегом.

Искатель новых впечатлений,
Я вас бежал, отчески края;
Я вас бежал, питомцы наслаждений,
Минутной младости минутные друзья...

Только теперь, единственным, отчетливым зрением я вижу, что при всех признаках романтического стиля элегия несет в своей основе совершенно конкретные житейские и психологические реалии. Неузнанная Екатерина Раевская проступает из быстрой глубины пушкинского стихотворения, как проступают из беглой темноты его черновики ее неузнанные портреты.

В набросках стихов «Завидую тебе, питомец моря смелый» множество рисунков. Сразу определяются портреты Е. К. Воронцовой и Амалии Ризнич. Тут же дважды начат и в третий раз завершен портрет женщины с черным локоном над крутым лбом, в накинутаой на голову шали или шарфе, складки которого перечеркивают и покрывают соседние рисунки. Это один из самых экспрессивных портретов. Наклоненный, как бы сдвинутый с высоты надменности, даже в чем-то дисгармоничный, этот женский профиль выражает страстность и силу. Это лицо скорее значительно, чем красиво. Такой женщине по плечу власть. Каждый шаг такой женщины — поступок, любая черта — выражение незаурядности...

Я уже сразу нахожу в тесноте пушкинских рисунков этот образ. Вот он среди портретов знакомых в черновом автографе стихов «К моей чернильнице»; вот опять, два года спустя, между строк 21-й строфы второй главы «Онегина», возникают эти крупные, тяжеловатые черты. Пушкин как бы придвигает к себе ее лицо, вспоминает его пером. Это незавершенный набросок. Не в профиль, а почти в три четверти: лоб, нос, подбородок — графически безупречная линия, максимально выразительная. Я кладу рядом репродукцию портрета Е. Н. Раевской (неизв. худ., 1821 год, находится в экспозиции Все-союзного музея А. С. Пушкина). На холсте статная женщина с гордым страстным лицом. Завитки черных волос окружают широкий покатый лоб. При взгляде на удивительную посадку этой головы вспоминаю слова «Песни

Ек. Н. Раевская. Рисунок А. С. Пушкина. 1823. (Атрибуция Т. Галушко.)



песней»: «...шея твоя — Башня Вавилонская...» Красная шаль как бы выдает внутренний пламень с виду надменной души. Она похожа на отца больше всех детей генерала. Интересно, замечал ли это Пушкин?!

Кладу рядом их портреты, сделанные поэтом. Портрет отца из черновиков эпилога к «Кавказскому пленнику» (атрибутированный Т. Г. Цявловской) и набросок с автографа 21 строфы 2-й главы «Онегина». Нос, линия лба, верхней губы, подбородка — одни и те же. Оказывается, Пушкин подчеркивал, акцентировал их сходство. Оно еще разительнее при сопоставлении с портретом женщины из черновиков стихотворения «Завидую тебе, питомец моря смелый».

Еще один портрет Екатерины Раевской обнаруживаю в нижнем левом углу листа, имеющего шифр ПД 834 л. 29 об., еще один — в черновых набросках 16-й строфы второй главы «Онегина». На этом же листе начало стихотворения «Демон», посвященного ее брату Александру. Портрет ее есть на рукописи окончания второй главы (ПД 837 л. 42). Но особый, даже чрезвычайный интерес представляет портрет старшей Раевской, возникающий в иное время и в ином окружении.

Здесь необходимо отступление...

23 февраля 1821 года А. И. Тургенев пишет из Петербурга в Варшаву П. А. Вяземскому: «Михайло Орлов женится на дочери генерала Раевского, по которой вздыхал Пушкин». Тургенев не видел Пушкина с весны 1820 года, стало быть, его замечание об увлечении поэта относится к

событиям петербургской жизни 1817—1820 годов. Характерно, что, не называя имени, Тургенев как бы опирается на знания Вяземского и только указывает — «на той, по которой вздыхал Пушкин», следовательно, страсть Пушкина не была секретом и для Вяземского. Впрочем, чуть ироничный комментарий Тургенева передает и другое — безнадёжность пушкинского чувства.

В письме к брату Пушкин молодую 23-летнюю девушку называет «необыкновенной женщиной», для него это сложившаяся личность, особенная, исключительная натура.

В характере мироощущения Пушкина есть особенность, которой мы не должны забывать: это его способность жить воображением, жить с такой яркостью, полнотой и простором сопоставлений, что реальные отношения в какой-то мере являлись лишь толчком для внутреннего их развития. Амплитуда его состояний регулировалась нормами его темперамента и поэтического гения, которые всегда не совпадали с законами житейских соответствий. Стоит ли удивляться, что его внешнее поведение получало у окружающих искажённую оценку.

«Необыкновенная женщина» стала женой одного из виднейших деятелей декабризма — Михаила Орлова и переехала из Киева в Кишинев, где служил муж и томился изгнанник Пушкин. 12 ноября 1821 года она пишет в Одессу брату Александру: «Пушкин больше не корчит (разрядка моя.— *Т. Г.*) из себя жестокого, он очень часто приходит к нам курить свою трубку и рассуждает или болтает очень приятно». Через две недели она снова сообщает: «Мы очень часто видим Пушкина, который приходит спорить с мужем о всевозможных предметах».

Нам хорошо известно, о каких предметах шли споры в доме Орлова, недаром современники называли генеральскую гостиную «кипящим котлом заговора». Екатерина Николаевна была постоянной свидетельницей споров о проектах Вечного мира, о европейских революциях, о борьбе греков за независимость, о том, что «наступит время, когда все поймут, что человеку необходимо быть свободным так же, как пить, есть и дышать воздухом...»

Пушкин узнал о разгроме восстания декабристов в Михайловской ссылке. К июлю — августу 1826 года относится лист «с изображениями лиц, замечательных по 14 декабря» (как написал А. Н. Вульф, датировавший эти рисунки). Подробное описание этого листа дал А. С. Эфрос, определивший почти все портреты. Однако женский профиль сверху слева он счёл фантастическим портретом,



«Лист с изображениями лиц, замечательных по 14 декабря». Рисунок А. С. Пушкина. 1826.

что маловероятно. Этот профиль повторен на листе трижды в незаконченном виде. Таков обычный прием Пушкина — если портрет не удастся, он не исправляет, а бросает его и рядом начинает заново. Кроме того, этот женский портрет сверху тщательно проработан, дважды по одному абрису. Композиционно же он, как тонко заметил Эфрос, организует все расположенные на этом листе портреты. Лицо это, монументальное и строгое, точно предназначено для медали. В нем подчеркнут тип, а не личность. Но именно типологически эти черты обличают себя — это черты Раевских. Крупные мужественные черты генерала под густыми кудрями высокой женской прически.

Еще Эфрос подметил, что у Пушкина свой метод передавать характерность того или иного лица: он как бы клиширует главные признаки образа. Для образа Орловой такие клише — тяжелый крутой подбородок, покатый, с резким надбровием, лоб, близко расположенная к носу верхняя губа, высокий зачес черных курчавых волос.

Портрет Е. Н. Орловой мог бы быть определен давно, если бы можно было объяснить факт присутствия ее изображения среди лиц, причастных к событиям 14 декабря.

*Ек. Н. и М. Ф. Орловы. Рисунок
А. С. Пушкина в альбоме
Ел. Н. Ушаковой. 1829.*



В заметке Пушкина по поводу «Графа Нулина», относящейся к этому же периоду, есть замечание, в какой-то мере дающее ключ к раскрытию его ассоциаций: «бывают странные сближения».

Одно из таких странных сближений находим в его письме П. А. Вяземскому от 13—15 сентября 1825 года: «Сегодня кончил я вторую часть моей трагедии — всех, думаю, будет четыре. Моя Марина славная баба: настоящая Катерина Орлова! знаешь ее? Не говори, однако ж, этого никому...»

В другом письме от 7 ноября 1825 года он снова об этом упоминает, говоря, что Марина «и собою преизрядна (вроде Катерины Орловой)...»

Идя за ходом пушкинской аналогии, мы должны отказаться от мысли, что это лишь чисто внешнее сопоставление: Пушкин не живописец, а писатель, а портрет в драматическом произведении возможен только один: психологический.

В набросках предисловия к «Борису Годунову» Пушкин пишет о своем понимании образа Марины Мнишек: «...я заставил Дмитрия влюбиться в Марину, чтобы лучше оттенить ее необычный характер. У Карамзина он лишь бегло очерчен, но, конечно, это была странная красавица;

у нее была только одна страсть — честолюбие, но до такой степени сильная, бешеная, что трудно себе представить... Я уделил ей только одну сцену, но я еще вернусь к ней, если Бог продлит мою жизнь. Она волнует меня, как страсть».

Очень вероятно, что Пушкин ощущал в Екатерине Орловой что-то общее с честолюбивой полькой XVII века, возможно, подозревал в ней значительность, которая при ином варианте судьбы могла бы развернуться силой и звучанием исторического масштаба, и, возможно, трагический сюжет восстания предполагал и ей, и ее мужу иные роли.

Она прожила свой век как «верная супруга и добродетельная мать», но как часто мне чудится, что Пушкин видел ее прозорливее, проницательнее, чем раскрыла жизнь. Ведь недаром приходилась ей сестрой Мария Волконская.

В рукописях Пушкина портреты Екатерины часто появляются рядом с портретами брата Александра. Видимо, в Кишиневе, близко наблюдая Орлову, Пушкин старается определить меру их сходства, одного постичь через другого. Именно поэтому и появляется изображение Екатерины в черновом наброске «Демона», который есть не что иное, как художественное осмысление личности Александра Раевского, его озлобленного ума, кипящего в пустом действии. А ведь и на него Пушкин возлагал в 1820 году свои надежды: «старший сын его будет более нежели известен...» Знаменательно, что и на «декабристском» листе есть его портрет.

Для Пушкина отношение к Екатерине многозначно и сложно окрашивалось присутствием Александра, их родством и дружбой. И в отношении сестер Раевских к Пушкину невозможно не учитывать влияния старшего брата, его умного скепсиса, его парадоксального сарказма.

В середине века П. И. Бартенев, собирая сведения о жизни Пушкина в южной России, обращался к разным лицам с просьбой рассказать о поэте. «Нам случалось,— пишет он,— беседовать с княгиней М. Н. Волконской и Е. Н. Орловой (урожденными Раевскими). Обе они отзывались о Пушкине с улыбкой некоторого пренебрежения и говорили, что в Каменке восхищались его стихами, но ему самому не придавали никакого значения. Пушкина это огорчало и приводило в досаду».

Другой современник Орловой Я. К. Грот заявляет: «Катерина Николаевна решительно отвергает сведение,

будто Пушкин учился в Юрзуфе под ее руководством английскому языку. Ей было в то время 23 года, а Пушкину 21, и один этот возраст, по тогдашним строгим понятиям о приличиях, мог служить достаточным препятствием такому сближению. По ее замечанию, все дело могло состоять только в том, что Пушкин с помощью Раевского в Юрзуфе читал Байрона, и что, когда они не понимали какого-нибудь слова, ...посылали наверх к Катерине Николаевне за справкой».

В бумагах Пушкина, относящихся к 1822 году, есть запись: «Более или менее я был влюблен во всех хорошеньких женщин, которых я знал; все изрядно кичились передо мною; все, за исключением одной, со мной кокетничали».

Образ Орловой как нельзя более соответствует этой записи: она могла кичиться, но никогда не стала бы с ним кокетничать.

Раевские в жизни Пушкина — эпоха. И несмотря на боль и разочарования, — счастливая эпоха. Это сложный, многоликий и многолинейный роман, но не такой, как сочиняют писатели, а такой, как рождает, кромсает, благословляет и не завершает жизнь.

«Огонь... под пеплом....»

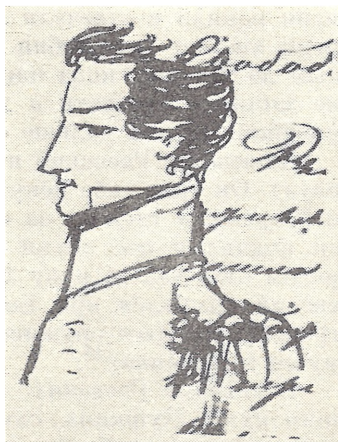
Считается, что Пушкин познакомился со старшим из сыновей генерала Раевского Александром¹⁴ летом 1820 года на Кавказских Минеральных Водах. Это не так.

В архиве братьев Тургеневых сохранилось несколько писем, относящихся к зиме — весне 1819 года. Николай Тургенев извещает брата Сергея, жившего в Вене, 23 февраля 1819 года: «Недавно был у меня полковник Раевский». 28 марта новое упоминание: «Заходил бывший товарищ твой». Тут же важная для нас подробность: «Отец его приехал из Киева третьего дня» (т. е. 26 марта). Эта дата позволяет достаточно точно датировать шутивную записку в стихах, которую оставили захватившие к Жуковскому Пушкин и Николай Раевский. Последние строчки ее таковы:

Тебя зовет на чашку чая
Раевский, слава наших дней.

Прибыв в столицу, генерал захотел принять «Певца во стане русских воинов» в кругу своей семьи, в старом ломоносовском доме на Мойке. Оба сына были в Петербурге. Отсюда реминисценции из стихов Жуковского в самом тексте стихотворной записки.

А. Н. Раевский. Рисунок А. С. Пушкина в рукописи поэмы «Кавказский пленник». 1821.



Н. Н. Раевский-старший. Портрет работы Г. Карделли. 1812.

Очевидно, что автор стихов, Пушкин, свой человек у Раевских, и тоже будет присутствовать на чаепитии. Скорее всего, не только Александру, но и отцу-генералу молодой поэт был представлен в те мартовские дни 1819 года. С Александром же Пушкин мог видаться у Муравьевых, у Тургеневых. Но это предположение. А вот факт посещения чаепития в доме Раевских — свидетельство самого Пушкина. Есть еще одна интересная характеристика в письме Н. Тургенева брату, уже 7 мая.

«Пакет твой к Франку я не отправлял по причине надписи „секретное“. Наконец, взял у меня его для доставления А. Н. Раевский, который едет к Кавказским водам... Он привез мне письмо от Михаила Орлова. Малой, кажется, очень хороший и умный». Итак, А. Н. Раевский пробыл в столице достаточно долго. Он ведет переписку с Михаилом Орловым, обсуждая их общее положение по отношению к службе и правительству. Орлов резко открыт:

«Я дал нескольким лицам то же поручение, что вам, именно — узнать, начинают ли забывать меня. Вы один

меня поняли и отвечали мне в смысле моего вопроса. У меня хватает самолюбия верить, что я останусь ненужным до тех пор, пока направление внутренней политики не заставит призвать к делам людей благомыслящих и умеющих видеть дальше своего носа...»

Александр Раевский переживал такую же жизненную паузу. Он знал себе цену. Получивший чин подпоручика и Георгия IV степени за громкое дело при Дашковке, где он поднял и нес знамя вместо убитого прапорщика, а рядом отец вел за руку 11-летнего брата, Александр Раевский сражался при Бородине, при Красном, был награжден золотым оружием (ныне его шпага находится в музее в Каменке)¹⁵.

В альбоме Раевских, хранящемся в фондах Всесоюзного музея Пушкина, сохранился его профильный портрет, бледный любительский рисунок. Автором рисунка можно считать брата Николая. Под изображением надпись: «Alexandre Raevsky, 1813». Это первое известное нам изображение Раевского. Он скорее похож на Петю Ростова, чем на будущего Демона.

10 апреля 1813 года он, уже капитан л.-гв. Егерского полка, состоит при графе М. С. Воронцове, который, в свою очередь, в начале войны командовал сводным гренадерским полком под началом генерала Н. Н. Раевского.

Отношения у А. Раевского с Воронцовым в ту пору очень близкие. Во время отпуска по ранению (в конце марта 1815 года) он находился в России, и граф писал его отцу: «Я бы писал Александру Николаевичу просить его с вашего дозволения приехать сюда; а я без него скучаю... Теперь же ему ехать сюда было бы совершенно лишнее, ибо, кажется без сомнения, что в начале мая все будем в России».

Воронцов еще не знал, что его корпус остается во Франции и А. Раевскому надлежит прибыть в местечко Мобеж под Парижем, где они будут расквартированы и где проведут без малого 3 года.

По мемуарному свидетельству декабриста Михаила Бестужева, вообще все офицеры во Франции «утратили этот вечно присущий русской армии солдатизм и либеральничали напропалую. Тем более этот дух проявлялся в высшей иерархии корпуса Воронцова, между офицерами его штаба, с которыми мы очень сблизились и неразлучно провели все время до самого нашего отправления в Кале. Понятно, почему весь этот корпус по возвращении его в Россию был раскассирован».

Вопрос об отмене крепостного права занимал все умы.

23 октября 1818 года Воронцов писал близкому другу их семьи М. Н. Логинову: «Я уверен, что долг и выгоды дворянства суть начать думать и особенно действовать об постепенном увольнении от рабства мужиков в России». Военные поселения Воронцов именовал «новыми стрельцами», намекая на концентрацию в них мятежных сил общества.

Александр Раевский привез из Парижа множество книг о французской революции (в основном мемуаров) и уверенность в политических переменах.

Царь Александр I («Мемнон», как называл его Раевский, уничтожающе сократив греческое Агамемнон, самой фонетической клички издеваясь над имперскими претензиями русского самодержца) не разделял пылкого энтузиазма своих дворянских конституционалистов, подававших ему разные проекты по крестьянскому вопросу. Царь сознательно отстранял героев войны от политики. Их, честолюбивых молодых генералов, видящих себя в будущем на первых ролях государственной жизни, он оставлял не у дел.

Ни Воронцов, ни его приятели «молодые демократы» (слова из доноса чиновника Каразина) М. Ф. Орлов, А. Н. Раевский, возвратясь в Россию, не получили никаких назначений по службе.

Раевский, прожив некоторое время дома в Киеве и в имении своей родственницы гр. А. В. Браницкой в Александрии, близ Белой Церкви, поехал в Петербург, чтобы решить свою дальнейшую судьбу или выйти в отставку. Весна 1819-го оказалась бесплодной. В апреле 1819 года он был официально уволен из армии «до излечения». В Петербург ему часто писал из Киева М. Ф. Орлов, с которым они сблизились. После дипломатических успехов в решении вопросов европейской политики он был назначен начальником штаба четвертого пехотного корпуса, командиром которого был Н. Н. Раевский, то есть резко отстранен от государственной деятельности. Орлов мучительно переживал свое удаление из столицы.

«Что вы пишете о моем положении при дворе, это я знал заранее и нисколько этому не удивляюсь... Пусть иные возвышаются путем интриг: в конце концов они падут при всеобщем крушении, и потом они уже не поднимутся, потому что тогда будут нужны чистые люди».

Орлов и Раевский еще не перешли на «ты», у них совсем разные натуры, но Орлов не опасается самых резких оценок. Он знает, что пишет единомышленнику.

«Найдись у нас десять человек истинно благомыслящих и вместе даровитых, все приняло бы другой вид».

Он отвергает ироническое предложение Раевского не рассчитывать на улыбку фортуны, потому что она — случайна: «...больше не говорите со мною тем языком, каким написано ваше последнее письмо. Улыбка фортуны не значит для меня ничего, событие — все».

Раевский вышел в отставку не только потому, что не хотел прислуживаться. Он знал русскую жизнь, основанную на «силе вещей», и, подобно Сергею Тургеневу, во всеобщее крушение не верил, разве что возникнут исключительные события и обстоятельства европейской жизни, подобные войне 1812 года... Но ненависть к российским порядкам жила в нем не меньшая, чем у Орлова.

В 1825 году, публикуя первую главу романа «Евгений Онегин», Пушкин указал в предисловии, что это «описание жизни петербургского молодого человека в конце 1819 года».

Условий света свергнув бремя,
Как он, отстав от суеты,
С ним подружился я в то время, —
Мне нравились его черты...

Ю. М. Лотман в своей книге, посвященной роману, обратил внимание на то, что черновые строфы стихотворения «Демон» (1823 года, как и глава I) соответствуют строфике романа:

Мне было грустно, тяжко, больно,
Но, одолев меня в борьбе,
Он сочетал меня невольно
Своей таинственной судьбе.
Я стал взирать его очами,
С его печальными речами
Мои слова звучали в лад...

Лотман замечает: «Этот набросок не нашел себе места в „Евгении Онегине“». Вслед за ним был написан «Демон». Ученый отвергает отождествление А. Раевского с Демоном. Но в данном случае дело не в прототипе. Пушкин фиксировал в романе ту перемену, которая произошла в его мироощущении в 1819 году. Знакомство с Раевским позволило ему отчетливо осознать этот процесс, нашедший потом выражение в стихотворении и в романе. Это был процесс, общий для поколения «молодых вольнодумцев».

Через год Пушкин приехал с Раевскими на Кавказ. На Горячих водах читали Байрона, Данте, А. Шенье и

письма М. Орлова. «Новостей политических мало. Говорят, что в Риме открыт заговор, и что по сему случаю 35 т. австрийцев выступили к сему городу... Везде огонь живет под пеплом, и я очень думаю, что 20 век (характерная описка Орлова. — Т. Г.) не пробежит до четверти без развития каких-нибудь странных происшествий».

И оттуда, с Кавказа, Орлов ждет новостей. Он поручил А. Н. уведомлять его о всех событиях, относящихся к его главным надеждам. «Без твоего письма мы бы ничего не знали о бунте в Имеретии».

На границах России называют события, греки поднялись на борьбу против турецкого ига. «Ежели б 16 дивизию* пустили на освобождение, это было бы не худо. У меня 16 тысяч под ружьем, 36 орудий и 6 полков казачьих. С этим можно пошутить».

Орлов видит в А. Раевском глубокого политического мыслителя, если не соратника, то, безусловно, единомышленника.

«Юный Арэт Пушкин», которому он передает привет в письме к другу, как раз в это время постоянно общаясь с отставным полковником, приходит к тому же заключению. По его мнению, Раевский «будет более, нежели известен». Очевидно, зажигательные речи Орлова находили отклик, если Пушкин «говорил об Александре Николаевиче как о человеке, которому предназначено, может быть, у п р а в л я т ь (разрядка моя. — Т. Г.) ходом весьма важных событий. Кстати, как подтверждают ответы М. Орлова на следствии, так думали многие в Южном обществе в 1822—1823 годах. Давая показания о братьях Муравьевых-Апостолах, М. Орлов сообщил: «Они всячески старались вовлечь меня и предлагали сделать особое общество под моим начальством. Они также уговаривали Александра Раевского, брата моего, но видевши неуспех в сем предприятии равно с моей стороны, как со стороны брата, они бросились к Пестелю, который тогда же на юге старался собрать несколько членов и трудился над преобразованием».

Значит, не просто *состоять*, а *возглавить* общество предлагали в 1823 году братья Муравьевы-Апостолы Орлову и Раевскому, «управлять событиями».

Тут кстати рассмотреть заново один общеизвестный эпизод.

В 1874 году в Лейпциге, затем в 1905 году в России

* С июля 1820 года Орлов — командир 16-й пехотной дивизии в Кишиневе. (Примечание автора).

печатались записки И. Д. Якушкина. Они не имели ни предисловия, ни комментариев. Лишь в 1951 году в серии «Литературные памятники» было предпринято их комментированное прочтение. В связи с этим хочется привлечь внимание к одному невнятному месту в этих «Записках». Речь идет о встрече заговорщиков в Каменке в конце ноября 1820 года. Придется привести текст почти полностью, чтобы дальнейшие рассуждения были понятны.

«Приехав в Каменку, я полагал, что никого там не знаю, и был приятно удивлен, когда случившийся здесь А. С. Пушкин выбежал ко мне с распростертыми объятиями. Я познакомился с ним в последнюю мою поездку в Петербург у Петра Чаадаева, с которым он был очень дружен и к которому имел большое доверие. Василий Львович Давыдов, ревностный член Тайного общества, узнавши, что я от Орлова, принял меня более чем радушно. Он представил меня своей матери и своему брату генералу Раевскому как давнишнего короткого своего приятеля. С генералом был сын его полковник Александр Раевский. Через полчаса я был тут, как дома, Орлов, Охотников и я, мы пробыли у Давыдова целую неделю. Пушкин, приехавший из Кишинева, где в это время он был в изгнании, и полковник Раевский прогостили тут столько же*.

Мы всякий день обедали внизу у старушки матери. После обеда собирались в огромной гостиной, где всякий мог с кем и о чем хотел беседовать...

Все вечера мы проводили на половине у Василья Львовича, и вечерние беседы наши для всех для нас были очень занимательны. Раевский, не принадлежа сам к Тайному обществу, не подозревая его существование, смотрел с напряженным любопытством на все происходящее вокруг него. Он не верил, чтоб я случайно заехал в Каменку, и ему хотелось знать причину моего прибытия. В последний вечер Орлов, В. Л. Давыдов, Охотников и я сговорились так действовать, чтобы сбить с толку Раевского насчет того, принадлежим ли мы к Тайному обществу или нет. Для большего порядка при наших прениях был выбран президентом Раевский. С полушутливым и полуважным видом он управлял общим разговором. Когда начинали очень шуметь, он звонил в колокольчик; никто не имел право говорить, не просив у него

* Якушкин ошибается. Пушкин провел в Каменке, Киеве и снова в Каменке всю зиму, А. Раевский уезжал в Киев, Александрию, Болышку. (Примечание автора.)



Каменка, имение Давыдовых. Акварель неизвестного художника. Середина XIX в.

на то позволения, и т. д. В последний этот вечер пребывания нашего в Каменке, после многих рассуждений о разных предметах, Орлов предложил вопрос, насколько было бы полезно учреждение Тайного общества в России. Сам он высказал все, что можно было сказать за и против Тайного общества. В. Л. Давыдов и Охотников были согласны с мнением Орлова; Пушкин с жаром доказывал всю пользу, которую могло бы принести Тайное общество России. Тут, испросив слово у президента, я старался доказать, что в России совершенно невозможно существование Тайного общества, которое могло бы быть хоть насколько-нибудь полезно.

Раевский стал мне доказывать противное и исчислил все случаи, в которых Тайное общество могло бы действовать с успехом и пользой; в ответ на его выходку я ему сказал: «Мне нетрудно доказать Вам, что Вы шутите; я предложу Вам вопрос: если бы теперь уже существовало Тайное общество, Вы, наверное, к нему не присоединились бы?» — «Напротив, наверное бы присоединился», — отвечал он. «В таком случае давайте руку», — сказал я ему. И он протянул мне руку, после чего я расхохотался, сказав Раевскому: «Разумеется, все это только одна шутка».

Другие тоже смеялись, кроме А. Л., роконосца величавого, который дремал, и Пушкина, который был очень взволнован; он перед этим уверился, что Тайное общество или существует, или тут же получит свое начало и он

будет его членом; но когда увидел, что из этого вышла только шутка, он встал, покрасневшись, и сказал со слезой на глазах: «Я никогда не был так несчастлив, как теперь; я уже видел жизнь мою облагороженною и высокую цель перед собой, и все это была только злая шутка».

Современный исследователь В. Я. Лакшин так резюмирует весь этот эпизод: «Раевского... при внешней невозмутимой сдержанности столь явное недоверие и розыгрыш должны были, несомненно, взбесить».

Между тем — удивительно тут другое.

Воспоминания Якушкина — *единственный документ*, свидетельствующий о *готовности* Александра Раевского вступить в общество. «Демон», доказывающий необходимость организации, в этом эпизоде поразительно близок в своей реакции молодому романтику Пушкину. Куда подевались его скепсис, желчь, уничтожающая ирония?

Якушкин, сам познакомившийся с М. Орловым по дороге из Кишинева в Каменку, человек в кругу южан новый, у Раевских — Давыдовых новичок, многих оттенков отношений не знал, не был посвящен, судил по первому впечатлению. Ведомы ли была ему переписка Орлова с А. Раевским весной — летом 1820 года, содержащая пророчество «событий», которые все переменяют? Знал ли он о встречах Раевского в Петербурге с братьями Тургеневыми, Н. Муравьевым и другими? С какой стати еще 24 сентября 1820 года Пушкин написал брату Льву: «старший сын его (генерала) будет более, нежели известен...»

Даже фраза Якушкина «договорились так действовать, чтобы сбить с толку Раевского насчет того, принадлежим ли мы к Тайному обществу или нет», — для Орлова могла иметь вполне субъективный смысл. Он намеревался посвататься к старшей дочери генерала. Сам Николай Николаевич (и этого не следует забывать) тоже присутствовал при всех спорах в гостиной и кабинете Василия Львовича, как оба его брата Давыдовы.

Нет сомнения, что генерал пытливо и чутко всматривался в Якушкина, пытаясь мотивировать его присутствие в Каменке. «Холоднокровный генерал» не мог не видеть, что разговоры об обществе — отнюдь не шутка. Во всяком случае, через месяц, когда последовало официальное сватовство Орлова, именно Александр передал ему «коренное условие отца» — выйти из круга заговорщиков.

Впоследствии то же самое А. Н. Раевский повторил Волконскому. Он и сам считал безнравственным — нахо-

даться в заговоре и вступать в брак, подвергая жену и детей опасности преследования властью. Даже посторонним людям известна была его политическая позиция. Ф. Ф. Вигель писал: «Верноподданничество, привязанность к монархическим правилам ему казались отвратительными и ненавистными», на друзей Конституции, в том числе на зятя своего Орлова, смотрел он с величайшим пренебрежением, однако ж с некоторой снисходительностью. Замыслы их не были для него неожиданными, и разыгрывать его Орлову было незачем. Между тем это был не просто розыгрыш, и даже совсем не розыгрыш. И. Я. Якушкин, новый человек в этом кругу, который и с Орловым-то познакомился лишь по дороге из Кишинева в Каменку, многих оттенков создавшейся ситуации оценить не мог, а многие годы спустя описал, как запомнил. Скорее всего, младший Давыдов, М. Орлов и К. Охотников пытались, создавая эту острую ситуацию, определить отношение генерала Раевского к возможному заговору. Прямота и гражданская честность его были общеизвестны. Пушкин видел в нем «человека без предрассудков» и при этом добавлял, что он «желчен и насмешлив».

П. И. Бартенев записал рассказы сестер Раевских о Пушкине. Среди них, между прочим, следующий.

Во время путешествия в 1820 году на Кавказ «Раевского всюду встречали с большим почетом; в городах выходили к нему навстречу обыватели с хлебом и солью. При этом он, шутя, говаривал Пушкину: «Прочти-ка им свою Оду. Что они в ней поймут?» Вообще он подразумевал, что Пушкин принадлежит к масонам, дразнил его и уверял, что из их намерений ничего не выйдет. Он взял слово с обоих сыновей, что они не вступят ни в какое тайное общество».

Тут, разумеется, надо учитывать, что воспоминанье, относящееся к сыновьям, относится к позднему периоду. Именно после Каменки Николай Николаевич мог поставить такое условие.

Независимость, гордая язвительность Раевского нажила ему немало врагов среди свитских генералов да и боевых командиров вроде Дибича или Каменского. А. В. Поджио в своих мемуарах указывает, что во время допросов декабристов следственным комитетом генерал И. И. Дибич всем «южанам» задавал вопрос о причастности к обществу генерала Раевского. В этом смысле характерен и рассказ арестованного в 1822 году в Кишиневе однофамильца генерала В. Ф. Раевского:

«В 1826 году, в начале февраля я был отправлен в Петербург... Генерал Левашов подозвал меня к небольшому столику и указал мне садиться. Первый его вопрос был: родственник ли я генералу Раевскому.

Ответ: очень далеко, и генерал меня едва ли знает.

Второй: принадлежал ли я к Тайному обществу.

Ответ: до 1821 года принадлежал, но в 1822 был арестован».

Сама последовательная связь имени Раевского с тайным обществом в вопросах Левашова не случайна.

В личных бумагах Александра I сохранилась его собственноручная записка. Выглядит она так:

<i>«Ермолов</i>	<i>и многие другие из</i>
<i>Раевский</i>	<i>генералов, полковых</i>
<i>Киселев</i>	<i>командиров, сверх</i>
<i>Михаил Орлов</i>	<i>того большая часть</i>
<i>Гр. Гурьев</i>	<i>разных штаб- и обер-</i>
<i>Дм. Столыпин</i>	<i>офицеров».</i>

Этот список подозреваемых в заговоре лиц, как видим, сделан самим царем. Имя Раевского значится здесь вторым.

И. Д. Якушкин вспоминает слова царя, обращенные к начальнику штаба П. М. Волконскому:

«Эти люди могут, кого хотят, возвысить или уронить в общем мнении».

В тот раз о Раевском речь не шла, но, несомненно, в глазах царя он тоже принадлежал к «этим людям».

Например, в письмах графини М. Дм. Нессельроде родным от 18(30) декабря 1825 года мы читаем:

«...Общество имеет много разветвлений, но так как и бумаги их и сами они себя выдают, есть надежда, что удастся дойти до корня зла. Узнав о причинах этого восстания, я нимало не удивилась; мне вспомнилось, что в течение нескольких лет уже делались мрачные предостережения по поводу того, что что-то замышляется; это меня заставило также вспомнить всевозможные толки и замечания по поводу молодежи, по поводу настроения офицеров второй армии в пору, когда Раевский командовал одним из ее корпусов. Армия эта сильно скомпрометирована. Дибич, в виду полученных им сообщений, направил по смерти государя Чернышева для производства арестов во второй армии, но пока еще у нас нет оттуда никаких сведений».

Через несколько дней, 26 декабря (7 января) 1825 года, она пишет:

«...Аресты виновных все еще продолжаются; почти все они военные. Здесь с нетерпением ожидают новостей от Чернышева, который был отправлен во вторую армию также для производства арестов».

Александр I не замедлил обезопасить себя от слишком активной и явно «не своей» личности Н. Н. Раевского. Он прекрасно знал, что за генералом солдаты пойдут, закрыв глаза, на бой и даже на гибель.

Высочайшим приказом 25 ноября 1824 года Н. Н. Раевский был уволен от командования четвертым пехотным корпусом — «до излечения болезни».

А. П. Ермолов, не знавший, что в тайном доносе имени Раевского предшествует его собственное, видимо понимая тайные мотивы, отозвался на это событие в письме к А. А. Закревскому 20 января 1825 года: «Отпуск Раевского кажется продолжительным. И едва ли, по состоянию здоровья его, возвратится он на службу... До меня дошел слух о каких-то будто бы потерпленных неприятностях, но верного не знаю».

В семье Раевских отставка отца была поставлена в один ряд с удалением от командования 16-й пехотной дивизией в Кишиневе в 1822 году М. Ф. Орлова (зятя генерала) и большими неприятностями у младшего сына Николая, обвинившего своего начальника, командира Курляндского полка графа В. В. Гудовича, в злоупотреблениях и растратах. Отец по этому поводу писал ему:

«Гудович делал всегда мерзости... вот Г-н Деконский такой же подлец, как Гудович, поехал в полк (возглавив комиссию по обвинениям, выдвинутым Н. Раевским. — Т. Г.); сладили, замазали, скрыли, и ты остался в лжецах. Само собою разумеется, что всякий подлец не хочет объявить себя таковым, старается скрывать себя; Гудович это и сделал, оправданием своим он тебя обвиняет, его всё должно было быть, и ты остался в дураках!»

Письмо датировано как раз ноябрем — декабрем 1824 года, когда Николай Николаевич ощущал сгущающиеся над семьей тучи.

Николай Раевский в эти трудные дни обо всем извещал брата Александра, жившего в Одессе. Все эти новости доходили, конечно, и до Пушкина, тесное общение с которым у Александра стало потребностью.

Вот что писал Николай брату 5 декабря (в канун своих и отца именин — 6 декабря Николин день) 1824 года:

«Он (Гудович) добавил помимо всего прочего много приятных вещей на мой счет, например, что я якобы нец, и что мой отец, уже много пострадавший из-за своего

зятя, становится теперь жертвой своего сына» (оригинал по-французски, перевод мой. — Т. Г.).

Такова была репутация этой семьи в глазах правительства и военной верхушки.

Декабристы признавались впоследствии, что в случае победы во Временное правительство они предложили бы войти А. П. Ермолову, Н. Н. Раевскому, М. М. Сперанскому, Н. С. Мордвинову. Таково, например, свидетельство уже упоминавшегося В. Ф. Раевского:

«Мордвинов адмирал, Сперанский и генерал Раевский были в подозрении. Об них спрашивали косвенно, уклоняясь выказать явное подозрение».

Сцена в Каменке была, по-видимому, «разведкой боем» для младших и старших ее участников. Председателем диспутов избирали несомненно генерала, а не его старшего сына: из трех хозяев Каменки, находившихся в кабинете В. Л. Давыдова, именно Раевский был самым старшим, самым уважаемым. И также наполовину в шутку, наполовину всерьез он эту роль исполнял, проницательно стремясь отгадать, что тут «демагогические споры», а что — реальные планы. Разумеется, парируя доводы Якушкина, он не собирался и впрямь вступать в общество. Это совершенно невозможно предположить в человеке, который был воином-рыцарем, слугой царя и Отечества и воинскую свою честь почитал превыше всего. С «мальчишками» он хороводиться бы не стал. Но ведь вся эта сцена как бы игра, наполовину в шутку, наполовину всерьез, «домашний парламент». Он отчасти мог провоцировать остроту ситуации, чтобы лучше в ней разобраться. Ему выражали доверие, и он хотел использовать силу своего авторитета хотя бы для того, чтобы впоследствии *разубедить* их в успехе их дела. Генерал знал силу своего влияния, почти гипнотическую, на своих близких, на своих офицеров.

Матвей Иванович Муравьев-Апостол вспоминал в Сибири:

«Известный бородинский герой Н. Н. Раевский многих излечил посредством магнетизма. Больной сын его А. Н., не признававший целебной силы магнетизма, по моей просьбе согласился испытать его действие. Я ему помог, но он упросил меня не говорить о том отцу его. Известно, что государь Александр Павлович, не жалуя Раевского, отнял у него командование корпусом, высказав, что не приходится корпусному командиру знакомиться с магнетизмом»¹⁶.

Как Пушкина, генерала не обманули слова Якушкина

о том, что «все это — только шутка»*. Его требование клятвы от сыновей — не вступать в общество — и то же требование к будущим зятям диктовалось бесконечной любовью к детям, желанием уберечь свою семью от назревающей исторической бури. Но идеи сильнее людей, как верно заметил М. С. Лунин.

Генеральша Софья Алексеевна, со свойственной ей женской категоричностью, выразила эту позицию в позднейшем письме к дочери Марии в Сибирь: «Немного добродетели нужно было, чтобы не жениться, когда человек принадлежал к этому проклятому заговору». Ее муж, идеальный отец и семьянин, независимый и гордый, был воином, героем. Его понимание происходящего было куда глубже и сложнее; нет, он не верил в дело этих молодых романтиков, старался их удержать, но вообще дерзость, порыв он уважал как «безумство храбрых», они были и ему свойственны. Это доказала война 1812 года, его отношения с низкопоклонниками и царедворцами, с собственными детьми.

Таким моментом, возможно, была и сложная минута в Каменке. Ему бросили вызов, и он его принял. В этот вечер.

Отношения с Воронцовым (во время войны дружеские, а с 1819 года, когда «полумилорд» стал мужем «троюродной тетушки» Елизаветы Браницкой, — родственные) давали возможность полковнику в отставке, числящемуся в корпусе А. П. Ермолова, в действительности жить то в Киеве у отца, то на Минеральных Водах, где он лечил раненую ногу, то целые месяцы оставаться у бабушки Александры Васильевны Браницкой в ее роскошном имении Александрия, в Белой Церкви.

«...В Киеве жил со своей семьей Н. Н. Раевский, командуя 4-м корпусом 1-й армии, штаб которого находился также здесь... Пышно жили они в Киеве, как и их богатые родственники: графиня Браницкая (м. Белая Церковь), ее брат В. В. Энгельгардт (м. Ольшанка), генерал времен Потемкина, и естный силач; граф Николай Самойлов (Смела), Алкивиад того времени, его сестра Елена Захаржевская (м. Жаботин), Давыдовы (Грушевка), Высоцкий (м. Злотополь), Лопухины (м. Матусово), Кудашевы и др.».

Все это была родня, люди одного клана, одного круга. Тень Потемкина осеняла их привязанность друг к другу, их противоречия, интриги, даже открытые распри...

* Еще в 1937 году В. В. Вересаев в книге «Спутники Пушкина» (М., 1937, ч. I, с. 295) не сомневался, что в «Записках» Якушкина имеется в виду генерал Раевский. (Примечание автора.)

Еще во время войны, когда из-за ранения Александр вернулся в Россию, он жил в Белой Церкви. Отец воевал, затем, тоже раненный, долго лечился в Киеве, матушка, занятая мужем и младшими сестрами, даже не удерживала Александра.

Он был своенравен, холоден, желчно-язвителен. Иногда родителям казалось, что он — чужой.

В том же 1820 году отец жаловался старшей дочери Екатерине в Петербург:

«С Александром живу в мире, но как он холоден! Я ищу в нем проявления любви, чувствительности и не нахожу их. Он не рассуждает, а спорит, и чем более он неправ, тем его тон становится неприятнее, даже до грубости. Мы условились с ним никогда не вступать ни в споры, ни в отвлеченную беседу. Не то, чтобы я был им недоволен, но я не вижу с его стороны сердечного отношения. Что делать! таков уж его характер, и нельзя ставить ему это в вину. У него ум наизнанку.

...То же самое с чувством: он очень любит Николашку и беспрестанно его целует, то он так же любил и целовал Атилли. От него зависит, чтобы я его полюбил или, вернее, чтобы я открыл ему мою любовь. Я думаю, что он не верит в любовь, так как сам ее не испытывает и не старается внушить. Я делаю для него все, когда только есть случай, но я скрываю чувство, которое побуждает меня к этому, потому что он равнодушно принимает все, что бы я ни делал для него. Я не сержусь на него за это...

Николай будет, может быть, легкомыслен, наделает много глупостей и ошибок; но он способен на порыв, на дружбу, на жертву, на великодушие. Часто одно слово искупает сто грехов».

Письмо это не датировано. Однако можно предположить, что оно относится к началу 1820 года, когда Николай и Екатерина с матерью находились в Петербурге. Александр оставался в Киеве по крайней мере до начала мая.

В конце мая он уже — на жарячих водах, где ждет отца, брата, сестер и Пушкина.

Письмо генерала печально и мудро. Его обычно приводят исследователи для отрицательной характеристики сына. «Уж если отец...» Вместе с тем это не совсем точно. Генерал и не подозревает внутренней драмы старшего сына, ту болезнь раздвоения и разочарованности, которую так тонко диагностировал Пушкин, увидев в ней «болезнь времени».

Один из умнейших людей эпохи, Александр Раевский

не видел пути и средств приложения своих сил и энергии. Да, он может найти больного черкесского ребенка, крестить его, смертельно больного — выходить, научить читать и писать. Он лекарь и ботаник. Ему не претит заходить в душную нищую хату и врачевать больных и увечных. Позднее, в холерные годы (1830, 1831), крестьяне из полтавского имения будут молиться за него, как за своего ангела-хранителя. Он любит всех, кто слаб, нищ, бессловесен. Тут можно не стесняться своей чувствительности.

Но к ровне — к людям своего плана, своего круга, в пределах своего общественного слоя — он язвителен, беспощадно-холоден, замкнут.

«О первый из друзей моих...»

Кто из богов мне возвратил
Того, с кем первые походы
И браней ужас я делил,
Когда за призраком свободы
Нас Брут отчаянный водил?

Почему так трудно поверить, что эти стихи всего лишь перевод?

Радость свидания зрелых, сильных, питанных жизнью друзей в этих стихах погранична боли. Эта радость, может быть, и есть последняя вершина жизни, так что впопыху забыться, лишь бы не напомнила о себе трезвая реальность, в которой они завтра тоже станут другими, остыв от воскресшего на миг молодого своего братства.

Кто только не переводил на русский язык «К Помпею Вару», седьмую из второй книги од Горация? И А. Фет, и Г. Церетели, и Н. Шатерников, и Б. Пастернак, даже путешественник П. Семенов-Тянь-Шанский.

Пушкин написал другие стихи. Пересоздал оду. В другом времени. В другом языке. И дело не в сокращении текста, не в перестройке композиции.

Это отмечали все исследователи, много раз прилагавшие аршин сравнения к римскому оригиналу и пушкинскому переложению. Достаточно сопоставить перевод Пастернака и стихотворение Пушкина. Творения двух гениев. Б. Пастернак сохранил «алкееву строфу» Горация.

На возвращение Помпея Вара

В дни бурь и бедствий, друг неразлучный мой,
Былой свидетель Брутовой гибели,
Каким ты чудом очутился
Снова у нас под родимым небом?

Помпей, о лучший из собутельников,
Ты помнишь, как мы время до вечера
С тобой за чашей коротали,
Вымочив волосы в благовоньях?

Ты был со мною в день замешательства,
Когда я бросил щит под Филиппами,
И, в прах зарыв покорно лица,
Войско сложило свое оружие.

Меня Меркурий с поля сражения
В тумане вынес вон незамеченным,
А ты подхвачен был теченьем
В новые войны, как в волны моря.

Но ты вернулся, слава Юпитеру!
Воздай ему за это пирушкой:
Уставшее в походах тело
Надо расправить под сенью лавра.

Забудемся над чашами массика,
Натремся маслом ароматическим,
И нам сплетут венки из мирта
Или из свежего сельдерея.

Кто будет пира распорядителем?
Клянусь тебе, я буду дурачиться
Не хуже выпивших фракийцев
В честь возвращения такого друга.

В двух сохранившихся автографах Пушкина нет заглавия. Нет обращения к другу по имени в тексте стихотворения. Вместо «алкеевой строфы» и белых стихов — четырехстопный ямб.

Кто из богов мне возвратил
Того, с кем первые походы
И браней ужас я делил,
Когда за призраком свободы
Нас Брут отчаянный водил?
С кем я тревоги боевые
В шатре за чашей забывал
И кудри, плющем увитые,
Сирийским мирром умащал?
Ты помнишь час ужасной битвы,
Когда я, трепетный квирит,
Бежал, нечестно броса щит,
Творя обеты и молитвы?
Как я боялся! как бежал!
Но Эрмий сам внезапной тучей
Меня покрыл и вдаль умчал
И спас от смерти неминучей.
А ты, любимец первый мой,
Ты снова в битвах очутился...
И ныне в Рим ты возвратился
В мой домик темный и простой.
Садись под сень моих пенатов.

Давайте чаши. Не жалей
Ни вин моих, ни ароматов.
Венки готовы. Мальчик! лей.
Теперь некстати воздержанье:
Как дикий скиф хочу я пить.
Я с другом праздную свиданье,
Я рад рассудок утопить.

Специалисты подчеркивают, что в пушкинских стихах «основное чувство, которое владеет субъектом, а именно — радость встречи с давним другом, захватывает читателя с первых же строк, и напряжение эмоций не спадает до конца. Вообще, эмоциональный регистр пушкинского переложения гораздо шире, переживание динамичнее, краски контрастнее, нежели в переводах других поэтов, да и в самой оде Горация (разрядка моя. — Т. Г.)».

Это очень точно. Но похоже на протокол вскрытия, подписанный прозектором. Разъята живая ткань стиха. И даже душа препарирована. При таком анализе исчезает музыка и то, что поэт именовал «тайный глас души моей».

Пушкин волшебным образом укрупняет Горация, обобщает, даже имя Брута как бы из собственного переводит в нарицательное. Он размышляет о сходстве, о повторяемости человеческих судеб в истории, а не создает современные *вариации* на темы Горация, жанр столь излюбленный композиторами, художниками, поэтами его эпохи. Он нигде не унижается до подмены обстоятельств времени и места. Не «притягивает» в столь нелюбезной ему рылеевской манере прошлое к настоящему. Как же раскрыть, отгадать сложный параллелизм пушкинского создания, не огрубив, не оскорбив цельность и энергию этой трехчастной гармонии?

Беловой автограф практически неприступен. Но, к счастью, до нас дошли черновые наброски. В них первоначальная целевая мысль всегда выпадает в осадок; хотя бы минимальными кристаллами в них обнаруживаются лишние (потому что *личные*) чувства, впоследствии устраненные; отстраненные, отчужденные строки беловика уже не зависят от них.

Вчитываюсь в черновые строфы (автограф ПД-224).

О первый из друзей моих
Мой первый друг тревоги
С тобой так часто я делил
Когда
Кто
О ты, с кем давние тревоги
И гибель я делил.

Начато с главного, личного — «Первый из друзей». Не «походы», а «тревоги», «давние тревоги» и «гибель я делил».

Разве это Гораций, а не Пушкин окликает своего сверстника, соплеменника, друга детства или юности?

«Пушкин никогда не был переводчиком в собственном смысле слова, то есть не ставил себе задачей познакомить русскую публику с неизвестными ей ранее образцами иноземной поэзии...

Пушкин был поэт и, обращаясь к иностранным писателям, подчинял их своим творческим задачам. В рецензии на «Денницу», развивая тезис И. В. Киреевского — «только подражание из любви может быть поэтическим и даже творческим», — он пишет: „Но в последнем случае можем ли мы совершенно забыть самих себя? И не оттого ли мы и любим образец наш, что находим в нем черты, соответствующие требованиям нашего духа“».

Мы не удержались от столь значительной цитаты, потому что это наблюдение, сделанное одной из самых тонких современных исследовательниц Я. Л. Левкович, можно считать методологическим принципом Пушкина в его работе над иноязычными стихами.

С какой целью обратился он к седьмой оде из второй книги од Квинта Горация Флакка? Только ли для того, чтобы включить ее в повесть из римской жизни о последних днях Петрония, над которой работал в начале 1835 года? Повесть едва начата. Переложение из Горация завершено и совершенно.

У нас есть пример, когда стихи создавались гораздо раньше прозаического контекста. Это стихи о пире Клеопатры. Работая над прозой, Пушкин переработал их. Ода Горация может иметь вполне самостоятельное значение. Ее содержание куда емче конкретного сюжета.

В середине чернового автографа остались слова, образы, которые можно назвать ключевыми к пониманию общего замысла Пушкина.

А ты, товарищ первый мой
А ты, любимец, витязь мой
любимый
Опять ты в битвах очутился
И ныне в Рим ты возвратился
В мой угол тесный и простой
домик
В шалаш мой.

Слово «витязь» пронзительно, как молния. Это даже не слово. Понятие. И притом чисто русское. Витязь — не просто воин, а отважный, доблестный богатырь, чья

судьба легендарна, а имя прославлено. «Товарищ первый мой», «витязь», «любимец». Очень лично. Очень сильно. И еще, — у Пастернака нет указания, что дорогого гостя принимают в доме поэта. Речь идет о его возвращении «под родное небо». Как раз строка «Воздай ему за это пирушкой» заставляет думать, что поэт — гость прибывшего друга. У Пушкина много раз прорабатывается единственная версия: мой угол, мой домик, шалаш мой, в беловике «мой домик темный и простой». Скромность домашнего очага как бы подчеркивает значительность гостя. У Пушкина пир задает поэт в честь друга своей юности. Радость его безгранична.

Пушкин очень четко строит свое стихотворение.

Первая тема — приветствие другу, воспоминание общей молодости, общих бед и испытаний.

Вторая тема — участь самого поэта. Стыд поражения, перемена судьбы в результате вмешательства самого Эрмия.

Третья тема — тема пира, безудержной радости, желающих «утопить рассудок».

Витязь и поэт. Общая юность. Давние тревоги, ужас браней, призрак свободы, отчаянный Брут, походные шатры, позор поражения, частная жизнь поэта, боевая, славная судьба его друга.

Только ставя рядом эти слова, ничего не меняя в их последовательности, мы словно пишем конспект двух жизней. Чьих?

Есть произведение, в котором Пушкин прячет под сказку.

В третьей главе «Путешествия в Арзрум» (оно готовилось к печати весной 1835 года, то есть одновременно с интересующим нас стихотворением) Пушкин дважды цитирует Горация, его 14-ю и 9-ю оды из той же второй книги, где ода «На возвращение Помпея Вара» значит-ся под № 7. Цитаты в тексте «Путешествия» тоже — раздумья о жизни, о времени, о природе. Вот фрагменты текста, в который включены строки Горация:

«Многие из старых моих приятелей окружили меня. Как они переменились. Как быстро уходит время!

*Heu fugaces Postume, Postume,
Labuntur anni*

(Увы, о Постум, Постум,
Быстротечные мчатся годы).

Я воротился к Раевскому и ночевал в его палатке». Вторая цитата относится к пейзажу.

«Природа около нас была угрюма. Воздух был холоден, горы покрыты печальными соснами. Снег лежал в оврагах.

...nec Armeniis in oris
Amice Valgi, stat glacies iners
Menses per onnes...

(и армянская земля,
Друг Вальгий, покрыта неподвижным льдом
На круглый год).

Только успели мы отдохнуть и отобедать, как услышали ружейные выстрелы. Раевский послал осведомиться».

Пушкин был в армии в июне — августе 1829 года. Это самое жаркое время без дождей, время синего неба и зноя. А ливни налетают многоводные и мгновенные, как дар, как разрядка. Разумеется, на перевалах, высоко в горах (а русская армия совершала переход через Саган-лу в турецких уже пределах), — холоднее. Но суровость каменных, поросших сплошными лесами склонов вовсе не угрюма. Пушкин в этом кратком пейзажном эскизе сознательно усиливает описание до значения символа. И тогда цитата из Горация звучит как притча о временности окружающего холода эпохи. Тогда цитата из Горация читается в контексте третьей главы как утешение, как надежда. И кажется, не случайно в столь близком соседстве с цитатами из Горация, обращающегося в одах к друзьям, звучит имя Николая Раевского.

Есть много общего в судьбе младшего сына генерала Раевского и с адресатом третьей, 7-й оды «На возвращение Помпея Вара». Не приходится оговариваться, что связь эта не прямолинейна. Искать прямых аналогий не следует. Но знаменитая мысль Пушкина: «Бывают странные сближения», высказанная им по поводу сюжета «Графа Нулина» и одного из трагичнейших дней российской истории, 14 декабря 1825 года, заставляет нас пристальнее взглянуть в сюжет оды Горация и Пушкина, в ее героев.

Слушатель Академии, созданной Платоном в Афинах, поэт Квинт Гораций Флакк, как и его ровесник и однокашник Помпей Вар, встал под республиканские знамена Юния Брута, прибывшего в Афины для вербовки молодежи. В битве при Филиппах в 42 году до н. э. воины Брута были разбиты. Гораций бежал, начались годы странствий. Только объявленная триумвирами амнистия позволила ему вернуться в Рим.



Н. Н. Раевский-младший. Рисунок А. С. Пушкина в рукописи поэмы «Кавказский пленник». 1821.

Помпей Вар продолжал служить и сражаться в битвах гражданской войны, был заочно осужден, и лишь в 29 году до н. э. его неожиданно вызвали в Рим именем императора. Тут он встретился с Горацием, уже признанным поэтом, который жил в подаренном ему Мecenатом имении, расположенном в Сабинских горах недалеко от Тибура.

В переводе Пастернака Помпей — «лучший из собутельников», «в дни бурь и бедствий неразлучный друг»; у Пушкина — «лучший из друзей моих», «любимец, витязь мой». Как усилена близость, какой нежностью проникнуты прямые обращения к анонимному другу!

В посвящении к «Кавказскому пленнику» Пушкин отчетливо выразил свое чувство к Раевскому.

Когда я погибал, безвинный, безотрадный,
И шепот клеветы внимал со всех сторон,
Когда кинжал измены хладный,
Когда любви тяжелый сон
Меня терзали и мертвили,
Я близ тебя еще спокойство находил;
Я сердцем отдыхал — друг друга мы любили;
И бури надо мной свирепость утомили,
Я в мирной пристани богов благословил».

У них был свой Кавказ — 1820 и 1829 годов, — свои шатры, походы, брани, свой Брут и свой Эрмий. Почти через две тысячи лет после Горация, Пушкин в 1829 году, возвратясь в столицу, едва не был арестован. Один

современник вспоминал: «По возвращении Пушкина в Петербург государь спросил его, как он смел приехать в армию. Пушкин отвечал, что главнокомандующий позволил ему. Государь возразил: «Надобно было проситься у меня. Разве не знаете, что армия моя?» Слышал я все это тогда же от самого Пушкина».

«Ты снова в битвах очутился»

В сентябре 1829 года началось разбирательство связей Н. Н. Раевского-младшего с высланными на Кавказ декабристами и сдача им Нижегородского драгунского полка¹⁷.

Извещенный о невзгодах, постигших друга, Пушкин обратился к шефу жандармов весной 1830 года еще с одной просьбой:

«Я предполагал поехать из Москвы в свою псковскую деревню, однако, если Николай Раевский приедет в Полтаву, убедительно прошу Ваше Превосходительство разрешить мне съездить туда с ним повидаться» (21 марта, из Москвы в Петербург, перевод мой. — *Т. Г.*).

На его обращение последовала 3 апреля назидательная отповедь:

«Что касается Вашей просьбы о том, можете ли Вы поехать в Полтаву для свидания с Николаем Раевским, — должен Вам сообщить, что когда я представил этот вопрос на рассмотрение Государя, Его Величество соизволил ответить мне, что он запрещает Вам именно эту поездку, так как у него есть основания быть недовольным поведением г-на Раевского за последнее время.

Этот случай должен вас убедить в том, что мои добрые советы способны удержать вас от ложных шагов, какие вы часто делали, не спрашивая моего мнения».

Несмотря на высокий чин и награды, Н. Раевский всегда был чужим в кругу николаевских генералов.

Михаил Бестужев в книге «Мои тюрьмы» отметил эту его особую черту:

«Генерал Раевский, бывший член нашего Общества¹⁸ и прощенный государем за чистосердечное раскаянье, проживая, как начальник отряда в Тифлисе, наполнил свой штаб большею частью из декабристов и ссыльных офицеров. Прочих, не бывших в его штабе, он ласково принимал в своем доме».

Находясь в Сибири, М. С. Лунин без малейшего колебания писал: «Отметим, что частичными успехами, достигнутыми недавно, оно (правительство) опять-таки обязано двум членам Тайного общества». Он имел в виду



Петра Граббе¹⁹ и Николая Раевского. Это не обмолвка. В другом месте своей статьи «Общественное движение в России» Лунин особо акцентирует: «По единодушному свидетельству главнокомандующего, офицеров и солдат этой армии, три члена тайного общества, которым правительство доверило военное командование, весьма содействовали успеху этих трех кампаний». Третий был — погибший при Пушкине — Бурцов.

Много позже сам Николай Николаевич выразил свое общественное положение блестящим сравнением (записано его сослуживцем Г. И. Филипсоном): «Царская милость мне так же пристала, как корове седло. На ком был первородный грех 14 декабря, тот навсегда остался в положении журнала, которому объявлено два предостережения».

С Пушкиным они были опять «на долгий срок разведены».

* * *

Двенадцатого января 1832 года Петр Андреевич Вяземский, по своему ежедневному обыкновению, сообщил жене в Москву столичную хронику: «Сегодня обедаю у Пушкина с Жуковским, Крыловым и Николаем Раевским, которого я еще не видал и не знаю». Видимо, обед, о котором говорит Вяземский, Пушкины давали в честь Раевского. Ради него поэт пригласил к обеду ближайших друзей в свою квартиру на набережной в доме Баташева.

Генерал, о котором князь Вяземский был давно наслышан, с момента освобождения из-под следствия по делу

декабристов не бывал в Петербурге. И ныне прибыл не по своей воле. 9 сентября 1831 года Лев Пушкин с Украины писал в Белосток бывшему сослуживцу по Нижегородскому полку Михаилу Юзефовичу²⁰:

«Забыл тебе сказать, что Раевского требуют в Петербург для объяснений». Однако еще на Кавказе при долгой сдаче дел Нижегородского полка Раевский выбрал не оборону, а наступление. В Петербурге следовало ему явиться к военному министру графу А. И. Чернышеву. Но он встретился сперва с Л. В. Дубельтом и А. Х. Бенкендорфом²¹, бывшими сослуживцами отца, встретился приватно, и разговор у них был домашний, без чинов. Бенкендорф обещал сам сначала поговорить с Чернышевым.

26 января Вяземский извещал жену, а через нее Екатерину Орлову, о полном успехе обходного маневра.

«Сейчас был у меня Раевский и просил меня сообщить Орловой, что он получает Анну через плечо, что он совершенно очищен во мнении государя назло Паскевичу и Чернышеву и что он пока остается здесь еще, чтобы, если можно, поправить дела брата. В этом деле помог ему Бенкендорф, которым он очень доволен».

Не в этот ли день сочиняли вместе Пушкин и Раевский письмо военному министру, причем Пушкин явил тут блистательное владение фразеологией официальных деловых бумаг и поправками своими превратил прошение в своеобразный шедевр дипломатической наступательности.

Вот это письмо.

«Милостивый государь граф Александр Иванович!

Я принял смелость всепокорнейше просить Ваше Сиятельство довести до Высочайшего сведения мое оправдание и испросить мне возвращение наград, коих удостоен был представлениями начальства. Его Императорскому Величеству благоугодно было не только соизволить на всеподданнейшую просьбу мою, но и определить меня на действительную службу.

С чувством благоговения и глубочайшей благодарности принял я Высочайшую Милость. Но после смерти отца моего судьба моего семейства лежит на мне, и как въезд в столицы запрещен старшему брату моему, то я должен наместо его заниматься делами нашего имени и думать об устройстве двух сестер, разделяющих с братом его уединение.

Не осмеливаюсь озабочивать преждевременно Высочайшее внимание, но вынужден испрашивать себе позво-

ление проживать в Петербурге и в Москве, сохраняя мое назначение...»

У них была общая юность, незабываемые впечатления пылкой молодости, общая боль о тех, «кто далече», о том, кого нет, — об отце.

Н. Н. Раевский — Пушкину

«Апрель 1832 г. в Петербурге.

Дорогой мой, я хотел было сегодня утром приехать к тебе, чтобы засвидетельствовать мое почтение твоей жене, но из-за сильной простуды мне придется несколько дней просидеть дома. Навести меня, ради бога, мне очень нужно с тобой посоветоваться насчет одного письма, которое я должен написать по поводу брата — пообедаем вместе» (оригинал — по-французски).

Пушкин, конечно, пришел, и прошение на этот раз они сочиняли от имени матушки Софьи Алексеевны, вдовы героя 1812 года²².

Лишь в конце июня был получен ответ Бенкендорфа. Это был полный отказ.

«Милостивая Государыня Софья Алексеевна!

На почтеннейшее письмо Вашего Высокопревосходительства от 17 апреля сего года, коим Вы, Милостивая Государыня, изъявляете желание Ваше, дабы сыну Вашему Александру разрешен был приезд в столицы, имею честь Вашему Высокопревосходительству ответить, что я, уважая знаменитые заслуги покойного супруга Вашего и отличную службу Вашего второго сына, всегда обязанностью моею почитаю содействовать, по возможности, в исполнении желаний Ваших, и потому крайне сожалею, что в настоящем случае по обстоятельствам лишен удовольствия сделать Вам угодное.

Сын Ваш Александр, как известно Вашему Высокопревосходительству, дозволил себе дерзкий поступок в присутствии самой Государыни Императрицы и тем произвел даже Ея Величеству (разрядка моя. — Т. Г.) беспокойство. За таким действием его, уже неприлично было бы, как Вы, милостивая Государыня, конечно, сами изволите со мною согласиться, появление его в столицах, где легко бы могло ему случиться встретить Государыню Императрицу и тем возобновить неприятное впечатление, произведенное им на Ее Величество...

...я не считаю приличным и не осмеливаюсь ходатайствовать у Государя Императора о дозволении ему въезда в оные (столицы)...

Опала с Александра была снята через полтора года.

В архивном издании переписки Пушкина, вышедшем в издательстве «Художественная литература» в 1982 году, напечатана записка В. А. Жуковского к Пушкину, датированная предположительно: «Февраль—март (?) 1834. Петербург».

«Раевский будет у меня нынче ввечеру. Будь и ты, привези брата Льва и стихи или хоть прозу, если боишься Раевского. Порастреплем Пугачева.

Ж.

Четверг.

Собрание открывается в 9 часов».

В отличие от остальной корреспонденции эта записка составителями двухтомника почти не прокомментирована. О том, какой из братьев Раевских упомянут, высказана догадка: «Вероятно, Александр Николаевич, которому с января 1834 года было разрешено проживание в столицах». По-видимому, шутливое подтрунивание Жуковского над Пушкиным по поводу «боязни Раевского» тоже традиционно приводит на память героя пушкинского стихотворения «Демон» — Александра Раевского.

Между тем речь здесь идет несомненно о Николае Николаевиче. И записка эта дополняет одну из малоизвестных страниц пушкинской дружбы с младшим сыном героя наполеоновских войн.

Раевский приехал в Петербург осенью 1833 года, когда Пушкин был в Болдине. В октябре—декабре Раевский жил не столько в столице, сколько в Усть-Рудице²³, в доме при фарфоровой фабрике, которую некогда создал его прадед М. В. Ломоносов. Теперь правнук пытался возобновить и наладить производство фарфоровой посуды, дабы улучшить материальное положение семьи. Его зять М. Ф. Орлов устроил в своей подмосковной деревне, в Милятине, хрустальную фабрику и, несмотря на растущие долги, одержимо ею занимался.

Хотя после отстранения от командования Нижегородским полком за связи с высланными на Кавказ декабристами прошло уже пять лет и еще два года назад он был «прощен», снова «прощен» (как в январе 1826-го), хотя ему были возвращены все его награды и он даже был назначен командиром второй конногерской дивизии, Николай Раевский был «не у дел» и чувствовал это совершенно отчетливо. Государство в нем не нуждалось. Ни в его храбрости, ни в его воинском 20-летнем опыте, ни в его ярком энергичном уме.

Приходилось искать себе занятия. Одним из них была фарфоровая фабрика. Что там изготовляли?

Зимой 1834 года он гордо подарил Пушкину несколько тарелок с видами петербургских пригородов. Однако в нем не было экономической страсти зятя Орлова, фабрика не поглощала его целиком. Что же еще?

А вот что.

Лев Сергеевич Пушкин, упомянутый в записке Жуковского, эту зиму жил в столице с родителями, тщетно мечтая о возвращении на юг. Он связывал свои планы с будущим назначением Раевского, при котором служил в Нижегородском драгунском, вспоминая теперь это время как лучшие годы своей жизни. Вот что писал Лев Пушкин своему приятелю и бывшему сослуживцу М. В. Юзефовичу на Украину 21 февраля 1834 года:

«Раевский еще здесь, его денежные дела идут хорошо; не знаю, сколько времени он еще пробудет здесь, но хотелось бы уехать вместе с ним. Если это может быть тебе интересно, сообщу, что он роется в архивах и занимается русской историей, о которой раньше не имел ни малейшего понятия.

Мой брат скоро собирается издать историю Пугачева, произведение достойное, особенно в отношении повествования; в последнее время он много написал в прозе и в стихах, но это произведение занимает его исключительно».

Левушка в курсе житейских и литературных интересов двух друзей, но относительно Раевского он явно ошибается. Николай, по его словам, не имевший об истории «ни малейшего понятия», был одним из самых сведущих людей в вопросах истории, европейской и отечественной. Недаром именно ему так подробно излагал Пушкин план и содержание будущей трагедии «Борис Годунов».

Именно от Николая Раевского исходил важнейший совет: «Я желал бы, чтобы ты справлялся с историками (разрядка моя. — *Т. Г.*), которыми пользовался Карамзин, а не следовал только его рассказу. Не забудь, что Шиллер изучал астрологию прежде, чем приняться за „Валленштейна“».

Один из современников, Роберт Ли, вспоминал о своем знакомстве с Н. Раевским, тогда еще полковником, в его деревенском, гарнизонном жилище: «Я был удивлен большой коллекцией всех лучших книг по истории, политике и химии, а также переводов лучших английских сочинений на французский (разрядка моя. — *Т. Г.*)».

Льву Пушкину не было известно, что М. В. Юзефович не только знал о пристрастии своего командира к истории, но и стремился порадовать его новой книгой. 14 апреля 1833 года он писал ему из Киева:

«Я купил мемуары Курбского, которые тотчас вам pošлю, как только они будут завершены».

В московских и петербургских магазинах для Раевского оставляли книги по его заявкам. Труды по ботанике и истории. Вот один из таких списков, переданный им матери и сестре Екатерине для пересылки ему книг на Кавказ.

1. «История реформации и религиозных войн во Франции» Минье.

2. «Путешествие по руинам Вавилона» Риша, перевод с английского Раймона.

3. «История папы Григория VII» Вильмена.

4. «История Революции» Тьера.

5. «История Бретани» Дарю.

6. «История Университета» Дюбарля.

7. История Геродота (в переводе на франц. Мио).

8. «Мораль и политика» Аристотеля, перевод Тюрю».

Есть и другие данные, даже курьезные. Например, в июне 1835 года Л. В. Дубельт просит Н. Н. Раевского возвратить взятые им в 1833 году 87 томов «Собрания российских законов», принадлежащих Управлению корпуса жандармов.

А вот уже совсем пушкинский сюжет.

Директор главного архива Министерства
иностранных дел

А. Ф. Малиновский — Н. Н. Раевскому.

7 апреля 1834 г. г. Москва.

«Милостивый государь Николай Николаевич!

Получив через Его Сиятельство Вице-Канцлера (К. В. Нессельроде. — Т. Г.) Высочайшее Повеление снабжать Ваше Превосходительство сведениями из Московского Главного Архива Министерства иностранных Дел о сношениях России с Азией и особенно с Персией²⁴, со времен восшествия на престол Императора Петра Великого до смерти шаха Надира в 1747 году, покорно прошу Вас, Милостивый Государь, ежели Вам угодно, повидаться со мною завтрашнего утра, или пожаловать в Архив послезавтра 9-го числа сего Апреля, в начале второго часа пополудни для предварительного по делу сему объяснения».

Ничего любительского, дилетантского, согласного с

легким Левушкиным представлением о «новом капризе» Раевского не было. Пушкина с другом детства соединяли не только общие воспоминания, чувство взаимной любви и благодарности, они были единомышленниками, духовное их братство в основе своей имело редчайшее чувство, присущее обоим, — чувство истории.

Зимой 1834 года приехал в Петербург генерал-майор П. Х. Граббе, кавказский сослуживец Раевского. Сидя у Раевского в гостинице Демута, он посетовал, что не знаком с Пушкиным лично.

«Он жил неподалеку. Раевский послал его просить, и к живому удовольствию моему, Пушкин пришел. Мы обедали и провели несколько часов втроем. Двенадцатый год был главным предметом разговора. К досаде моей, Пушкин часто сбивался на французский язык, а мне нужно было его чистое, поэтическое русское слово. Русской плавной, свободной речи от него я что-то не припомню: он как будто сам в себя вслушивался. Вообще, пылкого, вдохновенного Пушкина уже не было. Какая-то грусть лежала на лице его. Он занят был в то время историею Пугачева и Стеньки Разина; последним, казалось мне, более. Он принес даже с собой брошюру на французском языке, переведенную с английского и изданную в те времена одним капитаном английского флота».

Граббе показалось, что Разин занимал Пушкина сильнее, чем Пугачев. Он не знал, что Пушкин говорил о Разине для Раевского. И брошюру принес для Раевского. Он свою «пугачевскую» работу просто не акцентировал в разговоре. Биограф Пушкина и издатель «Русского архива» П. И. Бартенев, записавший многие рассказы со слов друзей поэта, сообщил: «покойный Соболевский передавал нам, что Н. Н. Раевский (сын) собирал все, что было писано о Разине, и намеревался писать историю его разбойничьих подвигов». Замечательный библиофил С. А. Соболевский, вероятно, не раз «наводил» Раевского на нужные ему материалы. Не из-за этих ли «разинских» разысканий понадобился Раевскому архив коллегии иностранных дел? Ведь недаром мелькнула в письме Малиновского Персия: речь шла о тайных документах из истории дипломатии. Высочайшее соизволение могло быть получено на замыслы, относившиеся к Петру Великому (магнитно тянувшему к себе Раевского еще в отрочестве), но ведь могли там обнаружиться материалы, касавшиеся и более раннего времени, царствования Алексея Михайловича, при котором и гремел на Руси персидский поход легендарного Стеньки.

Ю. М. Лотман указывает, что в сознании современников Пушкина «связь Разина и Пугачева была устойчивой», и приводит мотивированный отказ Бенкендорфа Пушкину опубликовать «Песни о Стеньке Разине»: «Церковь проклинает Разина, равно как и Пугачева».

Тот же Бартенев утверждал, что Раевский обладал списком секретных «Записок Екатерины II».

В 1966 году тогдашний хранитель пушкинских рукописей в ИРЛИ АН СССР Р. Е. Теребенина доказала, что копия этих Записок, находившихся у Пушкина, была сделана со списка Н. Раевского, а не М. С. Воронцова, А. Тургенева или П. А. Вяземского. Первые 10 страниц «Записок Екатерины II» переписаны рукою Н. Н. Пушкиной, так что датировать список следует именно 1832—1834 годами.

Но вернемся к записке Жуковского. Теперь мы знаем, что, называя имя Раевского, он имел в виду Николая. Шутливый намек: «если боишься Раевского» — и свидетельствует о том, что к оценкам друга Пушкин относился очень серьезно, дорожил его мнением, зная, сколь глубоки его суждения, каким строгим вкусом они отличаются. Нередко эти оценки становились предметом их спора, дружеских схваток. Дошедшие до нас рецензии Раевского всегда суровы. Пушкин ждал их с тревогой и волнением, а потом вспоминал с нежностью:

«Кавказский пленник» — первый неудачный опыт характера, с которым я насилу сладил; он был принят лучше всего, что я ни написал... Но зато Николай и Александр Раевские и я, мы вдоволь над ним посмеялись». (1830, Опровержение на критики.)

«...Я пришлю... отрывки из «Онегина»; это лучшее мое произведение. Не верь Н. Раевскому, который бранит его — он ожидал от меня романтизма, нашел сатиру и цинизм и порядочно не расчухал». (Л. С. Пушкину, февраль 1824 из Одессы.)

Но ведь надо знать, *как* бранился Раевский. Его хула была ценнее многих комплиментов. Он бранил, потому что любил, потому что мера его требовательности соответствовала пушкинскому гению. Вот образчики его критики, его требовательной надежды на друга.

«Твой «Кавказский пленник», — произведение плохое, — открыл путь, на котором посредственность встретит камень преткновения». Или:

«Признаюсь, я не совсем понимаю, зачем ты хочешь писать свою трагедию белыми стихами. Я думал бы на против, что тут представляется случай воспользоваться

всеми богатствами наших многочисленных размеров... Хороша или дурна будет твоя трагедия, — но я заранее предвижу важные последствия для нашей словесности; ты дашь жизнь нашему шестистопному стиху, который до сих пор так тяжел и безжизнен; ты сообщишь диалогу движение, которое сделает его похожим на разговор, а не на фразы из словаря, как было до сих пор. Ты доверишь водворение у нас простой и естественной речи, которой наша публика еще не понимает, несмотря на прекрасные образцы ее в „Цыганах“ и в „Разбойниках“».

А вот об «Онегине»:

«Я читал... публично твоего «Онегина»; ...пришли в восхищение. А я кое-что покритиковал, но про себя».

Все эти замечания содержатся в одном письме (от 10 мая 1825 года, из Белой Церкви в Михайловское). И нельзя не улыбнуться, читая их. «Пленник» — «плохое» произведение, но «он открыл новый путь». «Онегина» критиковал про себя, а публично читал Кочубеям, гордясь новинкой опального друга. Невольно подумаешь, что сама критика его — знак самолюбивой ревности, родившейся из непримиримой жажды совершенства.

И только от него Пушкин принимал, — и смиренно, и с ропотом, — наставления, колкости, насмешки. Потому что знал: «плохое произведение» «Кавказский пленник» и его — Николая Раевского — детище.

Из воспоминаний М. В. Юзефовича о пребывании Пушкина на Кавказе в 1829 году:

«С Пушкиным был походный чемодан, дно которого было наполнено бумагами... он отдал брату Льву и мне этот чемодан, чтоб мы сами отыскиали в нем то, чего нам хочется. Мы и нашли там тетрадь «Бориса Годунова» и отрывки «Онегина», на отдельных листиках. Но мы этим, разумеется, не удовольствовались, а пересмотрели все и отыкли, между прочим, прекрасный, чистый автограф «Кавказского пленника». Когда я показал Пушкину этот последний, говоря, что это драгоценность, он, смеясь, подарил мне его; но Раевский, попросив у меня посмотреть, объявил, что, так как поэма посвящена ему, то ему принадлежит и чистый автограф ее, и Пушкин не имеет права дарить его другому. Можно себе представить мою досаду! Я бросился отнимать у Раевского, но должен был уступить его ломовой силе».

Тогда же Юзефович был свидетелем одной типичной стычки между друзьями.

«Пушкин... с жаром воскликнул: «...я не понимаю, как можно не гордиться своими историческими предками!»

Я горжусь тем, что под выборной грамотой Михаила Федоровича есть пять подписей Пушкиных».

Николай Раевский ему в насмешку заметил: «есть чем хвастать!» Пушкин как в воду окунулся и больше ни гу-гу».

Да, возражать было трудно. Раевский мгновенной репликой вывернул его мысль, обнаружив ее уязвимое место: «исторические предки» стояли у истока самодержавия и благословили тиранию, а потомок, столь от этой тирании пострадавший, с пафосом говорит о них, государевых выборщиках.

Недаром записочка 1834 года от Жуковского обещает: «Порастреплем Пугачева». Если Жуковского и Вяземского дополнить Н. Раевским, то и впрямь — «порастрепят».

Впрочем, у этого выражения был еще один смысл — лицейский. Так начинал профессор А. И. Галич, обращаясь к классикам древности в своих лекциях. («Пора, как говаривал Галич, потрепать старика», — выражение Кюхельбекера.)

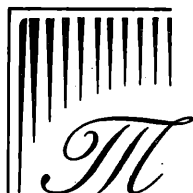
В выражении Жуковского угроза шутлива и многозначна, ибо сложен ее бытовой, для нас неуловимый контекст.

А славно они тогда, в 1834-м, зимою, решили: истории двух российских бунтов посвятить свое время, страсть и перо. Пример Пушкина заразил Н. Раевского. Исполнил ли он свой замысел? Вряд ли. В бумагах его жена и наследники ничего не нашли: А что касается любви к истории, то, по сообщению его управляющего Гаврилы Бабичева, во время последней, смертельной своей болезни, в июне 1843 года, чтобы забыть о страданиях, днем и ночью заставлял читать себе вслух исторические книги...





АЛЬБОМ РАЕВСКИХ



яжелый старый альбом в тисненом переплете. Он похож на ларец для сокровищ. И впрямь, переворачивая его отдельные листы, изучая рисунки и подписи под ними, я думаю о драгоценном и незаойливом смысле частной человеческой жизни, о ее тесной связи с множеством других судеб и событий, обнимаемых огромным понятием — история.

Вот похожие на театр теней сценки-силуэты: автор их граф Олизар*. Михаил Орлов сватается к Екатерине Раевской. Он — молодой генерал, которому за семь лет до того выпала честь подписать от имени русского правительства акт о капитуляции Парижа, дипломат, умница и основатель одного из тайных обществ в России, видный деятель декабризма.

В Кишиневе, где Орлов служил командиром шестнадцатой дивизии, старшую дочь Раевского называли «Марфа-Посадница». И видно, не зря.

Сватовство Орлова в альбоме Раевских оценивается с присущим всему семейству юмором. Генерал с букетом, а невеста с веником. Он — на коленях, она — властно мотает пряжу с его готовно растопыренных рук.

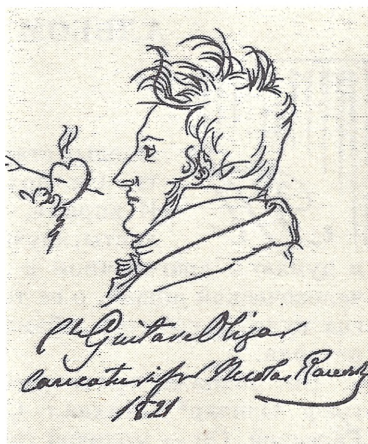
Перевернем страницу. 1819 год. Молоденький офицер в расстегнутом мундире раскуривает трубку. Кошка свернулась возле его руки. Лицо офицера задумчиво, глаза полуопущены. Он будто прислушивается к общей дружеской беседе, пока приятель любительским карандашом набрасывает его портрет. Юноша этот — младший сын генерала Раевского Николай. Художник-дилетант — И. Долгорукий. Какой же это Долгорукий? Илья Долгорукий?..

Позвольте, позвольте... О нем же в «декабристской» X главе «Евгения Онегина» упоминает Пушкин:

* Сообщено С. С. Тхоржевским. (Примечание автора.)



Н. Н. Раевский-младший. Рисунок
И. А. Долгорукого. 1817.



Портрет Г. Олизара. Рисунок
Н. Н. Раевского-младшего. 1821.

Свадьба М. Ф. Орлова к Ек. Н. Раевской. Рисунок Г. Олизара из
альбома Орловых-Раевских.



Витийством резким знамениты
Сбирались члены сей семьи
У вдохновенного Никиты
У осторожного Ильи.

«Члены сей семьи» — это «Союз благоденствия». Значит, и Николай Раевский входил в число знакомцев и гостей Долгорукого! Подпись под рисунком уточняет таким образом еще одно имя из круга «осторожного Ильи». И это имя близкого друга Пушкина. Н. Раевский приятельствовал и с братьями Тургеневыми, в доме которых на Фонтанке собирались будущие заговорщики.

В разгар гонения на Пушкина весной 1820 года Николай Раевский предложил поэту заступничество и кров. В письме к брату Сергею Николай Тургенев сообщает: «Пушкин собирается в Киев и Крым с молодым Раевским». Это написано 23 апреля, тучи над пушкинской головой грозны и тяжелы. Но уже хлопочут друзья. Пушкин глухо намекает Вяземскому в Варшаву: «Петербург душен для поэта: я жажду краев чужих, авось полуденный воздух оживит мою душу».

Да, там, в Крыму, проснется снова его муза, там переживет он «счастливейшие минуты жизни».

В альбоме несколько рисунков Николая Раевского. Рисунки любительские, но способности автора явно выше его технических возможностей. Портрет молодого Петра I выполнен коричневой акварелью, старательно копирует гравюру, воспроизводящую портрет работы неизвестного мастера. Дата — 1821 год. Пушкин уже обдумывает исторические записки, Н. Раевский готовится изучать политические и торговые отношения Персии и России, начиная с Петровских походов. Личность Петра занимала умы молодых вольнодумцев. Люди, прошедшие горнило европейских войн 1812—1814 годов, внимательно вглядывались в черты великого преобразователя, соотнося с его деятельностью свои новые идеи.

«Петр I не страшился народной Свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество может быть более, чем Наполеон...» Парадокс этот, занесенный в Исторические заметки Пушкина 1822 года, напоминает отголоски споров в доме Орловых — Раевских, участников и героев Отечественной войны.

В альбоме под одним из рисунков, подписанных Николаем Раевским, дата: Кишинев, 1821 год. Но до сих пор не имелось сведений о приезде Николая Раевского в Кишинев, где в это время жил изгнанником Пушкин. В

мае 1821 года состоялась свадьба Орлова. Известно, что сестру в Кишинев провожал Александр Раевский. По-видимому, и Николай воспользовался случаем навестить опального друга. Таким образом, дата в альбоме вносит еще одно свидетельство в летопись жизни Пушкина.

Александр Раевский представлен в семейном альбоме портретом 1813 года. Помета «Александр Раевский. 1813» сделана рукою Николая Раевского. Да и по манере рисунок напоминает его другие работы. Тонкий, робкий карандашный абрис; рука старательно стремится передать портретное сходство. Столь же легкой, чуть различной, линией он нарисовал польского поэта Густава Олизара. Вероятно, и брата, юного героя Бородина, портретировал он. Но как не похож этот юный романтичный офицер с георгиевским крестом, пухлыми губами и хохлом над высоким лбом на пушкинского «Демона», язвительного и беспощадно прямого, как все Раевские. В кругу приятелей Пушкин говорил о нем «как о человеке, которому предназначено, может быть, управлять ходом весьма важных событий»...

Старый семейный альбом, большие листы, цветы, записи ореховыми чернилами... Сейчас я закрою его тяжелые створы, и он ляжет на полку в фондах Всесоюзного музея А. С. Пушкина до новой встречи.





ПОРТРЕТЫ ИЗ КАМЕНКИ



рукописях второй главы романа «Евгений Онегин», над которой Пушкин работал в Одессе, — множество портретных набросков. Почти все они описаны и атрибутированы.

Среди них, возле строф X и XI, на полях изображение двух женских профилей. Дама в чепце и девушка в платочке, из-под которого темный локон выбивается за ухом. Рисунок относится к концу октября 1823 года. Т. Г. Цявловская определила даму в чепце как М. Н. Волконскую. Между тем этот вывод представляется весьма спорным. Мария станет женой С. Г. Волконского лишь в начале 1825 года, а маловероятно, что юную девушку Пушкин изобразил бы в модном *дамском* чепце. Характерно, что во всех зарисовках на полях «Онегина» именно замужние женщины рисуются им в чепцах разнообразной формы с лентами и фестонами; при этом он всегда очень внимателен к модели. Ни на одном портрете М. Н. Раевской Пушкин не рисует так линию носа. На них — тонкая прямая спинка носа и сам нос чуть заострен на конце, это вполне соответствует ее классическим портретам. У Раевской Пушкин всегда выявляет поэтическое, вдохновенное. На рассматриваемом рисунке у дамы чувственные, чуть «кошачьи», черты, нос короткий, закругленный на конце, большой глаз удлинен, острый подбородок, рот с короткой верхней губой мал и капризен. Вообще, в выражении лица есть что-то брезгливое или жеманное. Слишком высокий чепец, чересчур полная шея, бюст и плечи слишком пышны и круты для юной девушки (кстати, именно такие плечи были у Аглаи Давыдовой, что явствует при сравнении рисунка Пушкина и сохранившегося портрета помещицы Давыдовой). Вообще, в портрете весьма отчетливо выражена авторская ирония.

Адель Давыдова. Миниатюра
Милле. 1825.



Аглая Давыдова. Миниатюра не-
известного художника. 1810-е гг.



Аглая и Адель Давыдовы.
Рисунки А. С. Пушкина в ру-
кописи романа «Евгений Оне-
гин». 1823. (Атрибуция Т. Га-
лушко.)

Другое дело — соседний профиль. Это девушка, почти девочка, с волевым лицом, линии которого чисты и округлы. Она тоже курноса, и Пушкин это подчеркивает двойной закругленной линией. У нее тоже длинная бровь и глаз чуть удлинен, но бровь не столь плавная, а с изломом посередине, глаз меньше и уже, рот крупнее, подбородок круче загнут. Они похожи, но в молодом лице нет и тени томной чувственности.

Нам представляется, что Пушкин не случайно рисует их рядом, что это двойной портрет матери и дочери. Обе их можно назвать: Аглая и Адель Давыдовы. Обе они летом 1823 года были в Одессе на морских купаниях, и знакомство, начатое в 1820 году, в Каменке, и затем в 1821 году, в Кишиневе, было возобновлено.

При взгляде на портреты матери и дочери Давыдовых легко отметить характерные черты, присущие им, на пушкинском рисунке.

У дочери излом брови, удлиненный угол глаза, тяжеловатый подбородок, мягкий курносый нос.

У матери капризный пухлый рот с короткой верхней губкой, короткий нос и, главное, то же томное, чуть «кошачье» выражение яркого лица. Подбородок острый и длинный. Над невысоким, но широким лбом черные локоны, выбивающиеся из-под кружевного чепчика.

Разумеется, на рисунке Пушкина Аглая Давыдова значительно старше, чем на миниатюрном портрете 1810-х годов. Черты ее отяжелели, огрубели, явственнее обозначилось чувственное начало, она расплнела. Адель же на акварельном портрете исполнена очарования и прелести юности. Точно подпись к этой акварели воспринимаются и стихи Пушкина:

Играй, Адель, не знай печали...

На пушкинском рисунке девичьи черты жестче, в них виден сильный характер, надменное упрямство, усмешка в углу рта свидетельствует о чувстве юмора.

Если наша догадка верна, то это впервые найденные изображения Давыдовых в рисунках Пушкина, интересные для нас дополнительно авторской оценкой.





«ПОД ОДНОЙ ЗВЕЗДОЮ...»



немногие помнят эти стихотворные строки:

Соотчичи мои, заступники свободы,
О вы, изгнанники за правду и закон,
Нет, вас не оскорбят проклятием народы,
Вы не услышите укор земных племен!
Пусть сокрушились вы о силу самовластья,
Пусть угнетают вас тирановы рабы,—
Но ваш тернистый путь, ваш жребий лучше счастья
И стоит всех даров изменчивой судьбы!..

К кому обращена эта горячая речь? Пылкая, чистая, не скрывающая своей самоотверженной готовности служить до конца прежним идеалам? И кому принадлежат эти написанные в мае 1831 года строки?

Евдокия Ростопчина — первый женский голос в русской поэзии, гордый и храбрый голос, обращенный «к страдальцам-изгнанникам», открыто о себе заявивший в начавшуюся эпоху николаевского царствования.

Девочка, выросшая в теплых горницах чистопрудного московского особняка, сирота без матушки и вдали от служившего отца, в толпе бабушек и теток, кузин и гувернанток — классический зачин исключительной судьбы!

Растили для балов, нарядов, светской болтовни, выгодного замужества. Образование? Нет, здесь никто не помышлял о воспитании русской мадам де Сталь, именитые профессора не ездили на дом читать университетский курс истории и философии, как Лунину или Грибоедову. Обычная чехарда гувернанток, танцмейстеров, учителей игре на фортепьяно. Бабушка, очень мало похожая на лермонтовскую (а ведь в знакомстве, почти в родстве), требовала от внучки лишь гладкой прически, высоких воротников и опущенных глаз. Стихи? Своего сочинения? Это в семье-то, где и писем писать не люби-

Е. П. Ростопчина. Миниатюра неизвестного художника. 1830-е гг.



ли, правда, был некий дядя Н. В. Сушков, почти пиит, но у бабушки доверием не пользовался.

Бабушка была Пашкова, а Пашковы почитали стихи неприличием, а девичьи стихи — вообще преступлением, которое следует пресекать любыми мерами, а совершивших столь тяжкий грех наказывать сурово, вплоть до лишения наследства.

Юная мысль Додо Сушковой питалась книжной мудростью, благо библиотека в доме была отменная. Закон божий и уроки Йогеля не мешали Додо убежать в тайный мир открытий, что дарил ей заветный шкаф в кабинете покойной маменьки. Однажды ее взяли в дом княгини Зинаиды Волконской¹, на Тверскую. Это было потрясение. У «Северной Коринны» ей открылся новый мир. Живые картины, опера, стихи, историческая проза... А как говорила о своей невестке, Марии Волконской, хозяйка салона! Как свободны были ее суждения, как горячо участие к изгнанникам...

Вот, оказывается, какой женщиной можно быть даже в России, даже в Москве...

Пройдет жизнь.

Возвратятся из Сибири С. Г. Волконский, З. Г. Чернышев, И. И. Пущин. Волконскому и Чернышеву подарит давно знаменитая Евдокия Ростопчина стихи «К страдальцам-изгнанникам», повторившие пушкинскую мысль о том, что Россия, воспрянувшая от рабственного сна, восторженно встретит своих мучеников и героев.

1830-е годы. Годы чумы и бунтов.

Таких, как Додо Сушкова или ее приятель Николай Огарев, — единицы. Лермонтов, Герцен, Белинский... Разрознена их юная плеяда.

А Пушкин уже женился. И Дельвиг умер. И закрылась «Литературная газета». Скоро отцветут «Северные цветы».

...Пришла пора выезда Додо Сушковой в свет. Пора балов и успехов.

1829 год. Москва. На новогоднем балу у генерал-губернатора Д. В. Голицына ее знакомят с Пушкиным. «Пушкин так заинтересовался пылкими и восторженными излияниями юной собеседницы, что провел с нею большую часть вечера и после того тотчас познакомился с семейством Пашковых», — вспоминал позже брат поэтессы Сергей Сушков.

В тот вечер прекрасный весь мир озлащался.
Он с нежным приветом ко мне обращался,
Он дружбой без лести меня ободрял,
Он дум моих тайну разведать желал...
Ему рассказала молва городская,
Что, душу небесною пищею питая,
Поэзии чары постигла и я,
И он с любопытством смотрел на меня, —
Песнь женского сердца, песнь женских страданий,
Всю повесть простую младых упований
Из уст моих робких услышать хотел...
Он выманить скоро признание успел
У девочки, мало знакомой с участием,
Но свыкшейся рано с тоской и несчастьем...
И тайны не стало в душе для него!
Мне было не страшно, не стыдно его...
В душе гениальной есть братство святое:
Она обещает участие родное,
И с нею сойтись нам отрадно, легко;
Над нами парит она так высоко,
Что ей неизвестны, в ее возвышеньях,
Взыскательных дольних умов осужденья...
Вниманьем поэта в душе дорожа,
Под говор музыки, украдкой, дрожа,
Стихи без искусства *ему* я шептала
И взор снисхожденья с восторгом встречала.
Но он, вдохновенный, с какой простотой
Он исповедь слушал души молодой!
Как с кротким участием, с улыбкою друга
От ранних страданий, от злого недуга,
От мрачных предчувствий он сердце лечил
И жить его в мире с судьбою учил!
Он с пылкостью прежней тогда оживлялся,
Он к юности знойной своей возвращался,
О ней говорил мне, ее вспоминал.
Со мной молодея, он снова мечтал.

Казалось бы, встретились люди, родные по духу.

Нет, тут не пушкинское:

А счастье было так возможно,
Так близко...—

в этих стихах совсем иное.

Среди обширной мемориальной Пушкинианы эта страница единственна. До сих пор свежа и чиста, не захватана сочинителями постылой саги «Пушкин и женщины», не вошла ни в какие литмонтажи былых и нынешних составителей вечного бестселлера «Пушкин в жизни». Бережная печаль, мудрость и доброта, мгновенное понимание души, раскрывшейся перед ним (женщина-поэт в России!), — вот черты зрелого, великого человека, сохраненные наивно-прекрасными стихами Евдокии Ростопчиной, которой много позже холодный Чаадаев признается, что улыбка прекрасной, гениальной женщины «делает человека более счастливым, нежели всякий другой успех».

Ей казалось, Пушкин, не зная о ней, ее создал в «Онегине». Какова же, должно, для него была сила узнавания, явления в реальной жизни такого чистого и цельного характера! Ведь она читала ему стихи о своей любви:

Жалел он, что песни девической страсти
Другому поются, что тайные власти
Велели любить мне, любить не *его*, —
Другого!.. И много сказал он всего!..

В сороковые годы П. А. Плетнев напишет своему приятелю, академику Я. К. Гроту: «Ростопчина... толковала со мною о себе вдвоем. Она жалуется, что ее жизнь лишена первого счастья — домашней теплоты. Она говорит, что сердце ее совсем не создано к той жизни, какую принуждена вести теперь, и беспрестанно твердила стих Татьяны:

...Отдать бы рада
Всю эту ветошь маскарада».

В начале 1833 года Додо Сушкова вышла замуж — вырвалась на свободу. Любила одного, выдали за другого, богатого, знатного 19-летнего Андрея Ростопчина — сына бывшего московского генерал-губернатора. Она искала в браке независимости и самоутверждения, пускай смерть, но «вольную смерть». Отчасти это стремление к свободе осуществилось. «Она готовилась быть его подружкой, понимая под этим словом полное, сознательное, неизменное сотоварищество двух существ, свободно избрав-

ших один другого для перехода через неизвестную и подчас трудную дорогу жизни», — объясняла позднее свое решение Ростопчина в автобиографической повести «Счастливая женщина». Муж оказался неуравновешенным упрямым, игроком и эгоистом.

Она ушла в себя, в жизнь души и сердца, благо эта жизнь была столь богата и разнообразна, что ни секунды она не чувствовала себя несчастливой и одинокой.

25 января 1837 года (в день, когда был отослан вызов!) Пушкин обедал у Ростопчиных. П. И. Бартенев оставил запись: «Как рассказывал нам ее муж граф А. Ф. Ростопчин, (поэт) неоднократно убежал из гостиной мочить себе голову: до того она у него горела».

Гибель Пушкина стала величайшей утратой в жизни Ростопчиной. Она не верила черной вести. Хотела хоть чем-то обмануть себя, оставить себе след его материального присутствия в своей жизни. Жуковский понял ее, как никто. «Посылаю вам, графиня, на память книгу, которая может иметь для вас некоторую цену. Она принадлежала Пушкину; он приготовил ее для новых своих стихов и не успел написать ни одного; мне она досталась из рук смерти; я начал ее; то, что в ней найдете, не напечатано нигде. Вы дополните и докончите эту книгу его. Она теперь достигла настоящего своего назначения...» В тетрадь было вписано стихотворение:

Он лежал без движенья, как будто по тяжкой работе
Руки свои опустил. Голову тихо склоня,
Долго стоял я над ним, один, смотря со вниманьем
Мертвому прямо в глаза; были закрыты глаза,
Было лицо его мне так знакомо, и было заметно,
Что выражалось на нем, — в жизни такого
Мы не видали на этом лице. Не горел вдохновенья
Пламень на нем; не сиял острый ум;
Нет! Но какою-то мыслью, глубокой, высокою мыслью
Было объято оно: мнилось мне, что ему
В этот миг предстояло как будто какое виденье,
Что-то сбывалось над ним, и спросить
мне хотелось: что видишь?

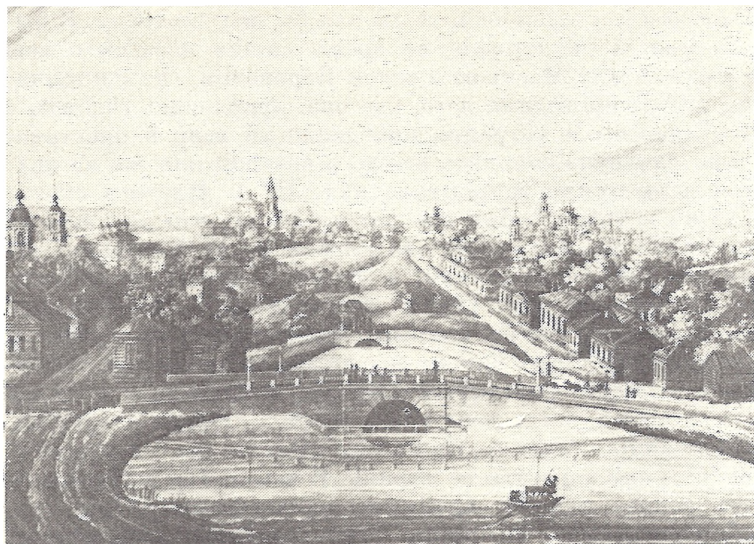
Тут же вписано было двустишие в антологическом роде:

Роза

Утро одно — и роза поблекла; напрасно, о дева,
Ищешь ее красоты; иглы одни ты найдешь.

В творчестве Ростопчиной это двустишие откликнулось особым эхом через три года.

В мае 1838 года она в связи с рождением ребенка удалилась в свое имение Анна и провела там два года,



Москва. Пресненские пруды. Литография О. Ф. Леметра. 1830-е гг.

вдали от пушкинского круга друзей, от литературы. Дружившая с ней А. О. Смирнова-Россет писала ей туда в апреле 1839 года: «...Ты должна воспользоваться этими двумя годами, потерянными для общества, но которые не должны быть потеряны для женщины-поэта, женщины замечательной и иначе созданной, чем мы, заурядная жизнь которых начинается на балу, а кончается за ломберным столом».

Ростопчина не была профессиональным литератором. Поэтический труд как цеховое занятие, как заработок... Эта мысль показалась бы ей дикой. Стихи для нее были то же, что пенье для птицы, естественной и постоянной потребностью самовыражения. Она писала ежедневно, отдаваясь поэзии, как сти ии. Работать над стихом, постоянно уточняя, выверяя, совершенствуя текст, она почти не умела. Ее дар был близок вдохновенной импровизации, всегда цельной по чувству и предельно искренней по тону. Ее брат вспоминал: «Она обладала редкою, замечательною легкостью сочинять стихи, и многие из ее мелких стихотворений вылились у нее экспромтом; при обладании вместе с тем необыкновенной памятью нередко случалось ей складывать в уме длинные стихи в несколько страниц, которые позднее, на досуге, она записывала

быстро и без остановки, точно как бы под диктовку. Я бывал иногда свидетелем, во время наших поездок с нею вдвоем между Москвою и селом Вороновом, где Ростопчины всегда проводили лето, как она, прислонясь головою в угол кареты и устремив неподвижный взор в пространство, начинала сочинять стихи, а вечером или же на другой день прямо записывала их». П. А. Плетнев сказал кратко и точно: «Для нее поэзия то же, что для живого существа воздух». Сама она писала М. П. Погодину, что пишет «не корысти ради, а прямо и просто от избытка мысли и чувства». Стихи Ростопчиной — своеобразный дневник, она любит длинные французские эпиграфы и посвящения. В ее поэзии мы видим пушкинский Петербург в лицах, описанный изнутри, и главное — в то же самое время, когда поэт в нем творил, страдал и погибал. Карамзины, Мусины-Пушкины, Вяземские, Хитрово — постоянные адресаты ее лирики. И чем ближе к Пушкину, тем роднее для нее. Станным представлялось мне одно обстоятельство: не было стихотворений, обращенных к жене поэта.

Тем более странно, что с Наташей Гончаровой Ростопчина была знакома еще в Москве, в юности, постоянно встречались они в обществе в 1830-е годы, ведь они были люди одного круга.

Отсутствие стихов, адресованных «поэтше Пушкиной», само по себе еще не определяет отношений к ней Ростопчиной, хотя представляется почти необъяснимым. Все, что связано с Пушкиным, — святыня для нее, все воспето.

Много раз перечитывала я маленькие томики ее стихотворений, издания 1856 года. Это самое полное собрание, да еще прижизненное. Однажды мое внимание привлекло напечатанное в I томе «Арабское предание о розе», написанное осенью 1840 года, после почти двухлетнего отсутствия в столице. Это сонет. Ему предшествует (как почти всегда у Ростопчиной) французский эпиграф, который в переводе звучит так: «Роза — прекраснейший из цветов, соловей лучший из певцов. Соловей полюбил розу».

Далее идут сами стихи, в которых нет ничего ориентального, ничего арабского. И никакой розы в сюжете нет.

Она по-прежнему прекрасна и мила,
Она по-прежнему как роза расцветает,
Ее румяная улыбка весела,
И светлый взор горит, и нас она пленяет!



Она перенесла губительный удар,
Она пережила годину слез и скуки;
В уединении тоски заветной муки
Она деляла, как замогильный дар.

Она почившего воспоминаньем чтит,
Она любившего за прошлое любила,
Душевной тризною святила много дней...

И вот по-прежнему всех нас она пленяет,
И вот она опять как роза расцветает...
Но где ж певец ее?.. где он, наш соловей?

Первое чтение сонета вдруг мне напомнило об альбоме Жуковского с двустижием о поблекшей розе, которая цвела одно утро. Разумеется, оно никак не связано с женой поэта, но проясняет движение творческой мысли у Ростопчиной.

С Натальей Николаевной они не виделись с зимы 1837 года. Вдова возвратилась в Петербург из Полотняного Завода в начале ноября 1838 года, когда поэтесса уже жила в своем воронежском имении. «Мы ведем сейчас жизнь очень тихую,— писала Александра Гончарова брату Дмитрию из столицы,— Таша никуда не выезжает, но все приходят ее навещать...»

Лишь в 1839 году ее уединение было прервано приездом из-за границы тетушки Софьи Ивановны де Местр с мужем, графом Ксавье де Местром. Тетки, и фрейлина Е. И. Загряжская, и С. И. де Местр, мечтают о возвраще-

нии Натальи Николаевны в свет и ко двору. В конце апреля 1839 года Пушкина извещает брата: «Недавно я представлялась императрице. Она была так добра, что изъявила желание меня увидеть, и я там была утром, на частной аудиенции». Лето 1839 года Наталья Николаевна с детьми и сестрой провела на даче на Каменном острове в доме, который сняла на сезон Екатерина Ивановна Загряжская. Зимой и весной сорокового года вдова начинает постоянно появляться в свете, но не на балах, а в театре; в дружественных кружках Карамзиных и де Местров она свой человек. В августе 1840 года часто навещавший Наталью Николаевну П. А. Плетнев делился с Я. П. Гротом впечатлениями от посещения вдовы друга.

«Вечер с 7 почти до 12 я просидел у Пушкиной жены и ее сестры. Они живут на Аптекарском, но совершенно монашески... Пушкина очень интересна, хоть и не рассказывает о тетрадях юридических. В ее образе мыслей и особенно в ее жизни есть что-то трогательно возвышенное. Она не интересничает, но покоряется судьбе. Она ведет себя прекрасно, нисколько не стараясь этого выказывать».

Эпиграф к сонету Ростопчиной о паре по первенству аналогичен и чуть ли не парафраза крылатого отзыва П. А. Вяземского «Первый русский поэт женится на первой красавице». Само название соотносит создание Ростопчиной с прекрасно ей известным стихотворением Пушкина «Соловей и роза», еще в 1827 году напечатанном в альманахе «Литературный музеум».

В безмолвии садов, весной, во мгле ночей,
Поет над розою восточный соловей.
Но роза милая не чувствует, не внемлет,
И под влюбленный гимн колеблется и дремлет.
Не так ли ты поешь для хладной красоты?
Опомнись, о поэт, к чему стремишься ты?
Она не слушает, не чувствует поэта;
Глядишь — она цветет; взываешь — нет ответа.

«Соловей, безответно влюбленный в розу» — ходячий сюжет восточной поэзии. Но не столько арабской, сколько индийской и персидской. В библиотеке Института востоковедения в Ленинграде мне приходилось видеть альбомы персидских и турецких миниатюр, поля которых в орнаменте постоянно варьируют сюжет розы и соловья. В данном случае эпитет «арабское» — почти символ, скрывающий арапское лицо поэта.

Стихи Пушкина написаны задолго до знакомства с Н. Гончаровой. Но дело не в адресате, а в том, что так

сильно акцентировано эпитафией ростопчинского сонета. Два совершенства — чудо красоты и чудо певческого дара — имеют лишь одностороннюю связь: красота вдохновляет искусство. Сама же независима, равнодушно первоначально по отношению к нему.

Смысл «Арабского предания о розе» Ростопчиной трагичен. Зачем красота, если некому ее воспеть и оценить? «Где певец ее? Где он, наш соловей?» Певец ее — соловей наш. Не случайны эти притяжательные местоимения.

С тех пор как не колоратурные, а мягкие, подчас мужским голосом звучавшие переходы алябьевского романса на слова Дельвига завоевали обе столицы, молва связывала его текст с именем Пушкина. Многое менялось, но не легенды. И в 1880 году книгопродавец Лисенков сообщил корреспонденту «Молвы» как азбучную истину, что «под словом «соловей» барон Дельвиг разумел нашего бессмертного поэта А. С. Пушкина». Соловьем, Баяном нового времени звал его и молодой Глинка, большой приятель Е. П. Ростопчиной.

Почему же сонет не обращен впрямую к Наталье Николаевне, с которой поэтесса постоянно общалась? Сохранились свидетельства вдовы (относящиеся, правда, к позднейшей эпохе): «Сегодня утром мы имели визит графини Ростопчиной, которая была так увлекательна в разговоре, что наш многочисленный кружок слушал ее, раскрыв рты. Она уже больше не тоненькая... На ее вопрос: «Что же вы мне ничего не говорите, Натали, как вы меня находите», у меня хватило только духу сказать: «Я нахожу, что вы очень поправились». Она нам рассказала много интересного, и рассказала очень хорошо».

Весной 1844 года Плетнев писал Гроту: «Обедал у Ростопчиной. Она на лето едет в Ревель с Н. Пушкиной».

В мае 1844 года Н. Н. Пушкина повредила ногу и не смогла уехать к морю, а вскоре было решено ее второе замужество, так что этот совместный отдых не состоялся.

В конце тридцатых — начале сороковых годов они почти ежедневно виделись у Карамзиных. Тогда-то и выразила свое сложное и достаточно противоречивое чувство к вдове Пушкина Ростопчина. Оно проникнуто и постоянной болью невозвратной потери, и сочувствием, и почти подсознательной горечью. Поэт всегда на стороне поэта. Оттенок упрека таится в строках первой строфы:

Она по-прежнему прекрасна и мила,
Она по-прежнему как роза расцветает,
Ее румяная улыбка весела,
И светлый взор горит, и нас она пленяет!

Чуть ли не изумление в глаголах второй строфы, усиленных фразовым ударением:

Она *перенесла* губительный удар,
Она *пережила* годину слез и скуки...

(курсив мой. — Т. Г.).

И этого изумления не уравнивают последующие пять строк о горе и памяти вдовы, которая «любившего за прошлое любила, душевной тризною святила много дней». Последняя строка — крик протеста и тоски! Бесцельна красота и радость, если нет ее певца, бессмысленно ее возвратное цветенье. Ростопчина с поразительной тонкостью передала в сонете ту двойственность в восприятии образа жены поэта, которая сопутствовала ей до смерти, да и после нее тоже. Эта двойственность определялась не личными качествами Натальи Николаевны (друзья поэта видели в ней по-прежнему «поэтшу Пушкину»), а их непримиримостью к трагедии, совершившейся на их глазах.

Эти чувства Ростопчиной разделял и М. Ю. Лермонтов, в 41-м году постоянно встречавший Пушкину в доме Карамзиных. И в нем предубеждение поэта было сильнее человеческого сочувствия².

Ростопчина впоследствии писала А. Дюма: «Двух дней было довольно, чтобы связать нас дружбой... Три месяца, проведенные тогда Лермонтовым в столице, были, как я полагаю, самые счастливые и самые блестящие в его жизни». В ноябре 1841 года Ростопчина изобразит в стихах образ того, неведомого обществу Лермонтова, каким он был только с близкими по духу людьми.

Но, лишь для нас, лишь в тесном круге нашем
Самим собой, веселым, остроумным,
Мечтательным и искренним он был.
Лишь нам одним он речью, чувства полной,
Передавал всю бешеную повесть
Младых годов, ряд пестрых приключений
Бывалых дней, и зреющие думы
Текущая поры... Но лишь меж нас, —
На ужинах заветных, при заре,
(В приюте том, где лишь немногим рад
Разборчиво-приветливый хозяин) —
Он отдыхал в беседе непритворной,
Он находил свободу и простор,
И кров, как будто свой, и быт семейный...

Не исключено, что под влиянием Ростопчиной в один из последних своих вечеров в Петербурге в апреле 1841 года Лермонтов разговорился с Натальей Николаевной

Пушкиной. «Он точно стремился заглянуть в тайник ее души и, чтобы вызвать ее доверие, сам начал посвящать ее в мысли и чувства, так мучительно отравлявшие его жизнь... Может быть, в эту минуту она уловила братский отзвук другого, мощного, отлетевшего духа, но живое участие пробудилось мгновенно и, дав ему волю, простыми прочувствованными словами она пыталась ободрить, утешить его, подбирая подходящие примеры из собственной тяжелой доли... Прощание их было самое задушевное, и много толков было потом у Карамзиных о непонятной перемене, происшедшей с Лермонтовым перед самым его отъездом».

А Ростопчиной в этот же вечер или назавтра, перед самой разлукой, поэт подарил альбом, в который вписал посвященные ей стихи:

Я верю: под одной звездой
Мы с вами были рождены;
Мы шли дорогою одною,
Нас обманули те же сны,
Но что ж! — от цели благородной
Оторван бурей страстей,
Я позабыл в борьбе бесплодной
Преданья юности моей.

Им казалось — они только сейчас познакомились и подружились. А ведь была общая юность, он учился в университетском пансионе с ее братом Сергеем, виделся в Середникове и Москве, посвящал ей стихи («Крест на скале», 1830 и «Додо», 1831). В них образ девушки уподобляется столь любимому им образу мятежного паруса.

Как над пучиною мятежной
Свободный парус челнока,
Ты беззаботна и легка.
Тебя не понял север хладный;
В наш круг ты брошена судьбой,
Как божество страны чужой,
Как в день печали миг отрадный!

Он был влюблен в ее кузину Катеньку Сушкову... Как в игре «тепло, горячо, горячо, холодно...». «Жизнь их развела» — классическая формула, констатирующая беду раннего разминования. «В мире новом друг друга они не узнали» — как скажет он сам почти перед смертью. И только весна 1841 года — короткое время взаимной близости и той высшей искренности, открытой, когда роднит дело жизни, общее дело души. Лермонтов писал в альбоме, подаренном им Ростопчиной:

Предвидя вечную разлуку,
Боюсь я сердцу волю дать;
Боюсь предательскому звуку
Мечту напрасную верить...

Так две волны несутся дружно
Случайной, вольною четой
В пустыне моря голубой:

Их гонит вместе ветер южный;
Но их разрознит где-нибудь
Утеса каменная грудь...

После отъезда Лермонтова вышла книга Ростопчиной — «Стихотворения» 1841 года. Она передала ее Е. А. Арсеньевой для пересылки «за хребет Кавказа» с надписью: «Михаилу Юрьевичу Лермонтову в знак удивления к его таланту и дружбы искренней к нему самому». Бабушка не тотчас ее отправила, и полученное ею уже после гибели поэта его последнее письмо от 28 июня 1841 года звучало упреком: «Напрасно вы мне не послали книгу графини Ростопчиной; пожалуйста, тотчас по получении моего письма пошлите мне ее сюда в Пятигорск».

Остался в ее руках еще один пустой альбом, загробный дар, рифмующий времена и обстоятельства. И о них, двух погибших гениях, она прокричит свой плач-завещание «Нашим будущим поэтам», понимая, что и сама ее поэтическая доля будет превратной и страдальческой.

Не просто, не в тиши, не мирною кончиной,—
Но преждевременно, противника рукой —
Поэты русские свершают жребий свой...
Не кончив песни лебединой!

Евдокия Ростопчина умерла от рака сорока семи лет (в 1858 году). Ее считали салонной поэтессой. Да и сама она, вопреки очевидности, говорила о себе: «Писательница-то я — может быть, но прежде всего я — женщина...» Было еще почти полвека до рождения Цветаевой и Ахматовой, и она не верила своему первородству.





«ЗАПУТАННАЯ СОВЕСТЬ»

О некоторых внелитературных параллелях к поэме Е. А. Баратынского «Наложница»



Осенью 1829 года Е. А. Баратынский сообщал из своего имения Мары Ивану Киреевскому: «...у меня новая поэма в пяльцах, и поэма ультра-романтическая. Пишу ее очертя голову».

Автор письма настаивает на том, что «нельзя искать нравственности литературных произведений ни в выборе предмета, ни в поучениях, ни в том, ни в этом... должно искать ее только в истине или в прекрасном, которое не что иное, как высочайшая истина».

В предисловии к первому изданию поэмы (1831 г.) Баратынский декларирует это еще определеннее: «...в книге безнравственна только ложь, вредна только односторонность; но ни лжи, ни односторонности не существует там, где литература деятельна, где ложное показание тотчас рождает улику, где решение нравственного вопроса тотчас вызывает исследования и противуречия (т. е. возражения. — *Т. Г.*), где публика не осуждена на чтение одной указанной книги».

Все это очень близко позиции Пушкина.

Баратынский убежден, что «чем обширнее гений писателя, тем он полнее и разнообразнее в своих творениях, тем он вернее отражает действительность и тем он нравственнее» (разрядка моя. — *Т. Г.*).

Отрывки из еще не законченной поэмы он спешит печатать в альманахах, ревниво следит за впечатлением, высказывает в письме к П. А. Вяземскому 20 декабря 1829 года опасение: «В альманахе Максимовича («Денница». — *Т. Г.*) вы найдете один из нее отрывок. Божь, не чересчур ли он романтический».

50 стихов; опубликованных в «Деннице», содержат описание разъезда гостей с пирушки в доме московского повесы Елецкого:

Гуляки
Встают, шатаясь на ногах;
Берут на стульях, на столах
Свои разбросанные фраки,
Свои мундиры, сюртуки;
Но, доброй воле вопреки,
Неспоры сборы.

И далее:

Давно не чищенный паркет;
К тому же буйного разгуляя
Всегдашний безобразный след:
Вот опрокинутые стулья,
Табачный пепел тут и там,
Ряды стаканов по столам
С остатками задорной влаги;
Тарелки жирные кругом;
И вот на выпуске печном
Строй догоревших до бумаги
И в блеске утренних лучей
Уже бледнеющих свечей.

В чем же романтизм — как мы сегодня его понимаем?

Мы констатируем мастерское зрение поэта, зрение реалиста, способного нестройный и некрасивый хаос жизни гармонизировать стихами в поэтическую картину.

«Наложница» была завершена в конце 1830 года. В это время в Болдине Пушкин дописывал «Онегина», признаваясь самому себе:

И в поэтический бокал
Воды я много подмешал.

Критика встретила поэму обвинениями в «грубом» натурализме. Начиная с названия, все в этой поэме шокировало рецензентов, да и публику тоже.

Е. М. Хитрово, одна из самых образованных русских читательниц, возражала П. А. Вяземскому 21 мая 1831 года: «Нет, я не могу восхищаться «Наложницей», и я в этом покаялась Пушкину. Я даже вовсе не нашла в ней автора «Бала». Всё это бесцветно, холодно, без энергии и особенно без всякого воображения». В этом же письме, сравнивая героиню поэмы с Эсмеральдою «Собора Парижской богородицы», корреспондентка расточает свои восторги французской цыганке, ибо автора романа В. Гю-

го не упрекнешь в бедности фантазии и воображения.

Это весьма характерный отзыв. Читатель негодует на отсутствие дистанции между сюжетом поэмы и жизнью. Ему фабула поэмы представляется неинтересной, чуть ли не заурядной. «Герой — дурак, никогда не покидавший Москвы. Я не могу его себе иначе представить, как в дрянном экипаже или в грязной передней», — пишет Хитрово.

Не роковой, загадочный красавец, не dandy, а декласированный повеса, купивший в таборе цыганку, живущий с нею, как муж с женой, уставший от нее и не умеющий, не решающийся развязаться... Баратынскому передали, что «Жуковскому не нравится название поэмы». Это явно смягченный отзыв.

Надеждин в «Телескопе» каламбурил: «Наложнице не следовало покидать типографского ложа», — называл поэму ничтожным произведением, а художественный метод Баратынского находил отвратительным.

Только «Литературная газета» Пушкина анонсировала поэму русской публике как «поэтический роман в 9 песнях» с дружеским доброжелательством, а Пушкин написал Плетневу: «„Наложница“ — это чудо!»

Но на это у Пушкина были свои, и не только литературные, причины.

Возвратимся к фабуле поэмы. Елецкой в юности, как и Онегин, «являлся в вечер на три бала», как Онегину, «ему в гостиных стало душно», и «полной волей наслаждаться алкал безумец молодой».

Он вступил в круг буянов, развратных повес и игроков.

Он и уму (что вдвое хуже)
Дал со страстями волю ту же,
Одушевлен в речах своих
Враждою к мнимым предрассудкам,
Подвергнул дерзновенным шуткам
Он всё святое для других.

.....
Его пословиц вольнодумных,
Ничуть не новый, впрочем, род,
Им в свете дал обширный ход,
И от людей благоразумных
Чудовищем со всех сторон
Елецкой был провозглашен.

«Вольнодумство» героя, его этический нигилизм, не имеет политического оттенка. Но бунт против традиций общественного поведения обходится столь же дорого, как и политическая нелояльность.



С Москвой и Русью он расстался,
Края чужие посетил;
Там промотался, проигрался
И в путь обратный поспешил.
Своим пенатам возвращенный*,
Всеми решительным венцом,
Цыганку взял к себе он в дом,
И, общим мнением пораженный,
Сам рушил он, над ним смеясь,
Со светом остальную связь.

Бытовой конфликт «Горя от ума» — неприятие Чацкого обществом, возникновение и распространение клеветы о нем, — озвучен в тональности времени. Мы знаем, что трагедия Чацкого подобна личному крушению П. Каховского, влюбленного в С. Салтыкову (будущую жену А. Дельвига)¹, подобна горю И. Якушкина, отвергнутого Н. Щербатовой². У Чацкого, при его образе мыслей и характере, остается политический шанс. Для людей этого склада любовная катастрофа — первая в ряду последующих. Это люди до 14 декабря.

Бытовая ситуация, в которой действует герой романа Баратынского, имеет совсем иной фон. Житейский, политический, литературный. Теперь, когда герои и мученики политических страстей были повешены и угнаны в

* Эта цитата из пушкинского романа приводит (по смысловому контрасту) на память Ленского, который вернулся в Россию «с душою прямо геттингенской». (Примечание автора.)

Сибирь, оставались еще оригиналы и чудачки, которые по-своему сопротивлялись, миру департаментов, чиновничьих интриг, дворцовых ритуалов и муштре парадов предпочитая божественное, цыганское веселье и удалство. Цыгане, цыганское пение, цыганская любовь во второй половине 1820-х годов приобрели в глазах русских дворян особый отблеск вольности, независимой страсти и чистосердечия. Увлечение цыганским пением захватило общество. Цыганское исполнение русских народных песен (романсы вошли в моду лишь в 1830-е годы) отличалось дикой и печальной красотой, с которой высказывала себя надежда тоскующей души. Это было больше, чем пение. Это было явление общественной жизни, культуры. В глазовском трактире в Москве можно было услышать знаменитый хор Ильи Соколова. Хор был невелик: всего 8 человек. Но, как признавался Петр Киреевский, «едва ли есть русский, который мог их равнодушно слышать»³.

Сюда впервые в 1828 году привез П. В. Нащокин Пушкина. И всей Москве известная цыганка Таня спела ему:

Друг милый, друг милый,
Сдалека поспеши...

«Бесценная прелесть! Радость ты моя, радость...» — проговорил Пушкин, когда она замолчала. Он стал частым гостем на Садовой.

Таня знала о Пушкине. «Мы все читали, как он в стихах цыган кочевых описал. И я много помнила наизусть, и раз прочла ему оттуда:

О чем, безумец молодой,
О чем вздыхаешь ты напрасно?

и говорю: как это вы хорошо про нашу сестру цыганку написали!»

Исчезли Чацкие. Но остались Нащокины. Кто не знал Павла Нащокина среди молодежи обеих столиц в 20-е годы?

Позднее, в иное время, Н. В. Гоголь писал ему: «Вы провели, по примеру многих, бешено и шумно вашу первую молодость, оставив за собой в свете название повесы. Свет остается при раз навсегда установленном от него же названии. Ему нет нужды, что у повесы была прекрасная душа, что в минуты самих повесничеств сквозили его благородные движения». Сравним со стихами во 2-й песне «Наложницы»:

Им проповедуемых мнений
Иль половины их большой,
Наверно, чужд он был душой,
Причастной лучших вдохновений.

Воспитанник благородного пансиона при Царскосельском лицее, поручик Измайловского полка, московский барин, наследник громадных состояний, мот, оригинал, игрок, друг писателей, художников, музыкантов, живущий «против всех условий света», он, по словам Гоголя, «ни разу не потерялся душою, не изменил ни разу ее благородным движениям».

Пушкин тесно сошелся с Нащокиным в конце 1820-х годов и относился к нему с нежностью братской привязанности: «Но кто, зная тебя, не поверит тебе на слово своего имения, тот сам не стоит никакой доверенности». Они познакомились, когда Нащокин посещал пансион при Лицее, и с тех пор его приключения, фантазии, безумные и расточительные затеи сделались легендами. Утверждали, например, что Нащокин нанимался в служанки к известной актрисе, чтобы добиться ее благосклонности. Не этой ли версии суждено было стать фабулой «Домика в Коломне»?

Сохранилось мало сведений об отношениях Нащокина с Баратынским. Известно, что они часто встречались в литературных кругах, имели общие интересы, о степени их близости дает представление письмо, написанное П. В. Нащокиным Н. М. Коншину 21 августа 1844 года:

«Истинно добрый и почтенный Николай Михайлович, прежде чем тебя благодарить за твое ко мне внимание, погорюем о Баратынском — и его не стало. Когда известие о смерти барона Дельвига пришло в Москву, тогда мы были вместе с Пушкиным, и он, обратясь ко мне, сказал: «Ну, Войныч, держись: в наши ряды постреливать стали». Многих из товарищей твоих и общих наших уже нет на свете, о которых не говорят и говорить не будут, слава же, известность и некрология не умолкнут повторять имен Пушкина, Дельвига и Баратынского в дальнейшее время потомства; но много ли людей осталось, которые бы могли помянуть их как товарищей и друзей по сердцу и по душе (разрядка моя. — Т. Г.); все трое были нам близки, но ты был ближе всех к Баратынскому, и, можно сказать, в единственную интереснейшую эпоху его жизни*.

* Нащокин имеет в виду годы службы Баратынского в Финляндии, когда поэт Н. М. Коншин был ротным командиром в его Нейшлотском полку. (Примечание автора.)

безный друг Коншин, оставим журналистам, газетчикам и лексиконистам славословить или помянуть их лихом... а мы с тобою помянем их, во-первых, как христиане... а во-вторых, помянем их как друзей и товарищей нашей беспечной и добросовестной молодости (разрядка моя. — Т. Г.): спасибо им, что пожили с нами и любили нас...»

На «мальчишнике» у Пушкина 17 февраля 1831 года Нащокин и Баратынский сидели рядом. В женитьбе Пушкина Нащокин был чуть не сватом. Назавтра Пушкин венчался в его фраке. Из них троих Баратынский женился первый в 1826 году. И на этом, как полагал Нащокин, кончилась интереснейшая эпоха его жизни. Загадочный Баратынский, некогда исключенный из Пажеского корпуса за странную, почти шиллеровскую дерзость; мятежный философ финских скал, имя которого связывали с самой страстной и неукротимой женщиной столицы — графиней А. Ф. Закревской; поэт, ставший рядом с Пушкиным, — сделался помещиком, т. е. поступил, как все. Женитьба. Частная жизнь. Это тоже был один из способов противостояния.

Вот отрывок из письма Е. Баратынского бывшему сослуживцу Н. М. Коншину.

19 декабря 1826 года.

«Так, мой милый, вашего полку прибыло. Я женат и счастлив... Прежде мое существование, беспорядочное и своенравное, всегда противоречило свойствам моим и мнениям».

В 1830 году жить, как все, сделал попытку и Пушкин. Он посватался к Н. Гончаровой. «До сих пор я жил иначе, как обыкновенно живут. Счастья мне не было. Счастье лежит на проторенных дорогах...»

Проторенная дорога и цыганская тропа разбегались в разные стороны.

Здравствуй, счастливое племя!
Узнаю твои костры;
Я бы сам в иное время
Провожал сии шатры.

Завтра с первыми лучами
Ваш исчезнет вольный след,
Вы уйдете — но за вами
Не пойдет уж ваш поэт.

Времена романтических поэм миновали. Нащокин уверял, что «к бродящим по Руси цыганам из всех классов общества даже мужики не пристанут, разве беглые каторжники, и подобные им, т. е. отпетые и изгнанные из

среды людей! Да вот я сам, например: ухаживая за Ольгой Андреевной, не хаживал же в их табор, а здесь на дому выдал им откупные!.. с цыганской совестью они обобрали меня! Впрочем, нельзя иначе, — прибавил он, смеясь, — при а р и с т о к р а т и ч е с к о м (разрядка моя. — Т. Г.) происхождении Оли: она ведь дочь знаменитой Шешки, удивившей своим пением знаменитую Катарини».

Времена романтических повестей кончились. Нащокин не чувствовал себя счастливым. Цыганка О. А. Солдатова жила у него с конца 1828 года. Он стал отцом двух детей. Об их романе Н. И. Куликов написал водевиль «Цыганка», и, «сидя в креслах московского театра, Нащокин глядел на собственное изображение». И вся Москва глядела. Это была почти слава.

Однако Пушкин пишет Наталье Николаевне 22 ноября 1831 года из Москвы о Нащокине: «...нашел его по-прежнему озабоченным домашними обстоятельствами, но уже спокойнее в отношениях со своею Сарою»*.

Несомненно, что Пушкин имеет в виду героиню Баратынского и называет ее именем Ольгу Андреевну. Сара — цыганка, взятая Елецким в наложницы. И отношения в доме Нащокина сродни ситуации, описанной в поэме:

Когда с цыганкой молодою,
Судьба Елецкого свела,
Своей разгульною душою
Она мила ему была.
«Я горя знать не буду с нею.
Каких тяжелых, черных дум,
Мне иногда гнетущих ум,
Свободной резвостью своею
Не удалит она сейчас?
Кому при блеске этих глаз
Приснятся мрачные печали?»
Так думал он, но дни мелькали;
К ее душе своей душой
На продолжительное время
Не мог пристать Елецкой мой
Ему потом уж стали в бремя
Затеи девы удалой.

Надеждой томной увлечен,
Он Саре пробовал порою
Передавать свои мечты,
Но образованного чувства

* Н. А. Раевский, комментируя это письмо в книге «Друг Пушкина — Нащокин», так раскрывает смысл имени Сара: «поэт имеет в виду библейский персонаж — олицетворение ревнивой жены». Но в Библии Сарра, а не Сара. (Примечание автора.)

Язык для дикой красоты
Был полон странной темноты.
Она, не ведая искусства,
Под речи друга своего
Без всякой совести зевала...

На гулянье под Новинском Елецкой встречает молодую москвичку — Веру Волховскую.

Окинув взорами собрание,
Остановил свое вниманье
Он на девице молодой.
Своими чистыми очами,
Своими детскими устами,
Своей спокойной красотой,
Столь благородным выраженьем
Сей драгоценной тишины,
Она сходна была с виденьем
Его разборчивой весны.

Почти неуловимая тень Пушкина мелькает при чтении эти строк. И звучит воспоминание современника: «На гулянье под Новинским толпы народа ходили за любимым поэтом, слышались возгласы: укажите, укажите нам его...»

Баратынский посвятил Пушкину одно стихотворение. Оно имеет заголовок «Новинское».

Как взоры томные свои
Ты на певце остановила,
Не думай, чтоб мечта любви
В его душе заговорила.
Нет, это был сей легкий сон,
Сей тонкий сон воображенья,
Что посылает Аполлон
Не для любви — для вдохновенья.

И как в игре «холодно — горячо», что-то жжется в стихах поэмы:

Как бодрость в путника ночного,
На небе утреннем горя,
Вливает алая заря, —
Так точно, жизнью обновленной,
Страстями долго омраченной,
Душе егодохнул тогда
Румянец нежного стыда.

Еще одна тема в «Наложнице» не могла не вызвать живого отклика в Пушкине: опровержение предубеждений, таившихся в душе девушки. За героем по пятам влечется его дурная слава, его опороченная репутация.



П. В. Наçокин. Рисунок
К. Т. Мазера. 1839.



В. А. Наçокина. Акварель неиз-
вестного художника. 1830-е гг.

Его диалоги с Верою напоминают диалоги Дон Гуана с Доной Анной из «Каменного гостя».

.....
Он молвил: — Многое во вред
Мне городская злоба трубит;
Сжился я со враждой молвы;
Но вы? Что думаете вы
О том, который вас так любит?»

Вера

Что все другие; даже мне
Еще известнее, как права
О вас рассеянная слава,
Как должно верить ей вполне.

Далее:

Елецкой в тягостную повесть
Минувших дней своих вступил,
Свою запутанную совесть
Он перед Верой обнажил,
Поверил ей без украшенья
Свои былые заблужденья,
К которым, впрочем, был влеком
Он меньше сердцем, чем умом.

Пушкина не могла не занять одновременность, параллельность их с Баратынским человеческих и поэтических наблюдений, сопереживаний. Ведь «Каменный гость» отстраненно отражал тот процесс, со всей откровенностью

раскрытый в стихах «Когда в объятия мои», художественное совершенство которых, конечно, несопоставимо с торопливыми и вялыми стихами «Наложницы». Психологическая зоркость Баратынского, к сожалению, во многом обесценивалась его художественной уязвимостью.

Баратынский с необычайной и почти пророческой силой постигает конечный итог этого союза: все пережившей души и души неопытной и чистой.

Девушка юная не знала,
Живого счастья полна,
Что так доверчиво она
Одной отравой в нем дышала;
Что сей приветный ветерок,
Ее ласкающий так нежно, —
Грозы погубительной пророк;
Что вдруг дохнет она мятежно,
И мир в глазах ее затмит,
И все красы его разрушит,
И все цветы его иссушит,
И жизни путь опустошит.

Цыганка Таня дела Пушкину накануне свадьбы: «Сударыня матушка, что во поле пыльно». И он плакал в предчувствии беды.

Цыганка Сара сыпала зелье в вино Елецкому, а Вера ждала в условленном месте, чтобы бежать от постылой дикарки и обвенчаться тайно.

Павел Воинович Нащокин читал «Наложницу», был 1831 год, и еще три года оставалось ему до встречи со своей Верой, Верой Нарской, и такой же тайный сговор, побег и венчание в селе Воскресенском были впереди. Все кончилось хорошо.

«Наложницу» освистали. Баратынский пошел на уступки. Он изменил заглавие, сделал поправки в тексте. Пушкин был убит через шесть лет.

Сергей Николаевич Толстой, брат Льва Николаевича Толстого, еще раз через 30 лет прожил жизнь героев Баратынского.

Только Татьяна Андреевна Берс через любовь цыганки Маши и пятерых детей не переступила.

Все кончилось хорошо. Как в «Повестях Белкина». Наложница стала графиней Толстой⁴.



ПРИМЕЧАНИЯ

«Судьба и легенда»

1. М. С. Пилецкий-Урбанович был в Лицее надзирателем по учебной и нравственной части. Поведение Пилецкого и его методы воспитания вызвали бурю протеста лицеистов. В. Ф. Малиновский, директор Лицея, разделяя настроение воспитанников, обратился к министру просвещения А. К. Разумовскому, и тот согласился на увольнение преподавателя. Награждение при увольнении Пилецкий получил от Министерства полиции, которое осведомлял о внутренних делах Лицея.

2. Барон (впоследствии граф) Модест Андреевич Корф (1800—1876), с 1831 г. управляющий делами Комитета министров, с 1834 г. государственный секретарь, с 1843 г. член Государственного совета, с 1849 по 1861 г. директор Императорской Публичной библиотеки.

3. Старшая сестра В. К. Кюхельбекера Юстина Карловна Глинка, жена Григория Андреевича Глинка, профессора русского языка и литературы Дерптского университета (1803—1810), с 1811 г. — помощника воспитателя при великих князьях Николае и Михаиле Павловичах.

4. В показаниях князя С. П. Трубецкого на следствии по делу декабристов о существовании в России особого тайного общества «Зеленая лампа» среди его членов упоминается барон А. А. Дельвиг (Восстание декабристов, т. I, М.—Л., 1925, с. 54).

5. Эпиграмма на критику Воейкова звучала так:

Хоть над поэмою и долго ты корпишь,
Красот ей не придашь и не умалишь! —
Браня — всем кажется, ее ты хвалишь;
Хвала — ее бранишь.

(А. Дельвиг. Сочинения. Л., 1986, с. 152).

6. М. И. Глинка, в свою очередь, написал вариации на музыку А. А. Алябьева. Оба эти обстоятельства сделали романс Дельвига едва ли не самым известным его произведением.

7. В объяснительной записке на имя директора Публичной библиотеки А. Н. Оленина от 8 мая 1825 г. Дельвиг пишет: «...я просрочил оной (отпуск. — Т. К.) ...единственно по причине приключившейся мне болезни, которая и поныне, с 28 числа апреля, т. е. со дня прибытия моего в Санкт-Петербург препятствует мне как явиться к занимаемой мною... должности, так равно и к Вашему превосходительству с принесением по сему случаю моего извинения...» (Барон Дельвиг. Материалы биографические и литературные, собранные Ю. Верховским. Пг. 1922, с. 39).

8. «Литературная газета», редактором которой был Дельвиг, начала выходить в 1830 г. Целью издания была не пропаганда какой-либо художественной доктрины или общественно-политической кон-

цепции. «Литературная газета» ставила своей целью борьбу за чистоту литературных нравов и нравственной атмосферы в литературе.

9. Прозаический перевод стихов Делавиня таков: «Франция, скажи мне их имена. Я их не вижу на этом могильном памятнике, они так быстро победили, что ты стала свободной раньше, чем успела их узнать» (Полвека русской жизни. Воспоминания А. И. Дельвига. М.—Л., 1930, с. 154).

10. Единственная рукопись, оставшаяся от «Песен западных славян», напечатанных самим Пушкиным, это — черновик стихотворения «Соловей» и четыре первые строки его сербского текста.

11. По свидетельству академика М. П. Алексеева, сокращения начальных букв авторов стихов Р. и Б. могут относиться к участникам очередной книги «Современника», составлением которой Пушкин был озабочен в декабре 1836 г. Пятый том журнала был первым из тех, которые выпускались друзьями Пушкина после его смерти. Основу этой книги составили рукописи разных авторов, найденные в столе покойного поэта.

В пятом томе «Современника» обращают на себя внимание два стихотворения: «Эльбрус и я» Е. Ростопчиной и «Осень» Е. Баратынского. Предположительно, имена как раз этих двух поэтов А. И. Тургенев обозначил в своем дневнике буквами Р. и Б. В этих стихотворениях высказывались настроения, прямо совпадавшие с теми, которые испытывал Пушкин в то самое время, когда мечтал о вольной жизни среди природы, в полной отрешенности от опустылевших ему тревог, клеветы, суетности большого света (А. И. Тургенев. Хроника русского. Дневники. М.—Л., 1964, с. 488; М. П. Алексеев. Пушкин и мировая литература, 1987, с. 23—24).

«Известен впрямь...»

1. Свою первую жанровую картину «Итальянское утро» К. П. Брюллов написал в 1824 г. Она принесла ему широкую известность, покорила итальянскую, а затем русскую публику, членов Общества поощрения художников и, наконец, Александра I, которому картина была принесена в дар.

2. Мы располагаем примечательным свидетельством современника, встретившегося с Пушкиным как раз в то же самое время в Петербурге. В дневнике А. В. Никитенко есть запись от 8 июня 1827 г.: «Это человек небольшого роста, на первый взгляд не представляющий из себя ничего особенного. Если смотреть на его лицо, начиная с подбородка, то тщетно будешь искать в нем, до самых глаз, выражение поэтического дара. Но глаза непременно остановят вас: в них вы увидите лучи того огня, которым согреты его стихи — прекрасные, как букет свежих весенних роз, звучные, полные силы и чувства» (Зименко В. М. О. А. Кипренский. М., 1989, с. 283).

3. На одной из копий стихотворения Пушкина «Андре Шенье», написанного в начале 1825 г. в Михайловском, учителем А. Ф. Леопольдовым была сделана надпись: «На 14-е декабря». Стихи с соответствующим доносом были переправлены Бенкендорфу. В январе 1827 г. Пушкин по распоряжению Бенкендорфа был допрошен московским обер-полицмейстером по поводу этих стихов. Поэт разъяснил, что заглавие дано не им и произвольно, а стихотворение написано до декабрьских событий. Однако дело тянулось до конца мая 1828 г. и закончилось учреждением по решению Государственного совета секретного надзора за Пушкиным (см. Лотман Ю. М. А. С. Пушкин Л., 1982, с. 153).

4. Упоминание Дельвига в этой связи особенно существенно, так как поэт не оставил своих воспоминаний о казни декабристов, хотя,

можно полагать, именно он подробно рассказал о своих наблюдениях Пушкину в мае 1827 г.

5. На основании анализа сохранившихся планов Петропавловской крепости исследователь А. Петров пришел к выводу, что Пушкин в третьей масонской тетради не только точно зарисовал расположение виселицы на валу кронверка, но и передал в своем изображении ход казни: верхний рисунок, по его мнению, фиксирует начало казни, нижний — ее окончание. Таким образом, рисунки виселиц являются «историческим документом, так как автор его — современник события», который зарисовал место казни по рассказу из первых рук (Н. В. Путьята, Н. И. Греч, А. А. Дельвиг)» (Иезуитова Р. В. К истории декабристских замыслов Пушкина. В сб. Пушкин. Исследования и материалы, т. XI, Л., 1983, с. 94).

6. В третьей масонской тетради черновой автограф послания «Кипренскому» находится среди декабристских произведений поэта.

7. Пушкин дал себя уговорить А. А. Дельвигу позировать О. Кипренскому, хотя известно, что несколько иронично относившийся к своей внешности поэт не любил, чтобы его рисовали художники. Художник и заказчик сошлись на невысокой цене — одна тысяча рублей. Кипренский в полной мере сознавал высокую честь и ответственность писать портрет человека такого масштаба. Но и Дельвиг, и Пушкин понимали, что у мольберта будет работать первый русский портретист, снискавший европейскую славу. Оплата была моментом второстепенным.

«Раевские мои...»

1. Знакомство Пушкина с семейством Ушаковых произошло в Москве в 1826 г. В доме Ушаковых на Пресне собирались известные в Москве музыканты, певцы, представители литературы. По старинному обычаю у сестер Ушаковых, Елены и Екатерины, были альбомы, в которые Пушкин тоже привносил свою поэтическую дань и сверх того набрасывал в них рисунки и карикатуры.

2. Упоминания о Н. Н. Раевском встречаются в письме Пушкина к В. А. Жуковскому от 20 января 1826 г. из Михайловского, Л. С. Пушкину от 18 мая 1827 г. из Москвы, Н. Н. Пушкиной от 27 августа 1833 г. из Москвы.

3. Пушкин письменно объявил, что «поэма сия не им писана». Но к поэме был проявлен столь повышенный интерес, что по приказанию государя был произведен устный допрос, где, снова отрицая свое авторство, Пушкин рассказал, что не помнит, от кого получил рукопись, что она ходила между офицерами Гусарского полка.

4. Пушкин был призван к допросу в третий раз, но испросил разрешения писать прямо к государю. Нераспечатанное письмо его было доставлено Николаю. Содержание его остается неизвестным, дело, однако, было прекращено.

5. Андрей Андреевич Ивановский — бывший член Вольного общества любителей российской словесности, после 14 декабря 1825 г. чиновник при правителе дел Следственного комитета по делу декабристов. Был дружен со многими декабристами, например, с А. О. Корниловичем. В 1828 г., когда Корнилович, находившийся в крепости, очень нуждался в средствах, А. А. Ивановский, состоявший в то время при А. Х. Бенкендорфе в 3-м Отделении собственной ЕИВ канцелярии в качестве делопроизводителя, вызвался помочь декабристу и издал в его пользу альманах «Альбом северных муз». Все эти факты были широко известны в литературных кругах России.

За безупречным послужным списком чиновника Следственной ко-

миссии Ивановского скрывались поступки вовсе неожиданные. Он сохранил у себя бумаги Рылеева: поэму «Наливайко», стихи, письма; помогал подследственному Грибоедову, открыто заявлял о его невиновности. Издавал литературный альманах, где печатал произведения Грибоедова, Ф. Глинки, А. Бестужева, К. Рылеева (последнего, разумеется, с купюрами и анонимно).

Первоначальное название своему альманаху Ивановский выбрал весьма опасное: «Северная звездочка». Еще совсем недавно Рылеев и Бестужев издавали «Полярную звезду» и хотели издавать прибавление к ней — «Звездочку». Бенкендорф заметил это странное совпадение, но издатель был ему хорошо знаком, благонадежен, и дело закончилось лишь переменою названия на «Альбом северных муз».

6. А. Н. Раевский с 1813 г. состоял адъютантом при графе М. С. Воронцове. Отношения их в это время были очень близкими. 20 апреля 1819 г. Воронцов породнился с семьей Раевских, женившись на Елизавете Ксаверьевне Браницкой, троюродной сестре Н. Н. Раевского-старшего. 7 мая 1823 г. Воронцов был назначен новороссийским генерал-губернатором и наместником Бессарабской области. В 1827 г. камергер А. Н. Раевский возбудил ревность в графе своими ухаживаниями за Е. К. Воронцовой. Князь П. А. Вяземский в письме к А. И. Тургеневу от 15 октября 1828 г. пишет по этому поводу: «О Воронцове скандальное известие: он жаловался Государю на Александра Раевского, сына Николая Николаевича... И Раевского вывезли из Одессы с жандармом в Полтаву для прожитья под присмотром. Подробности не достоверны, но сущность дела несомнительна...» (Архив Раевских, т. I, СПб, 1908, с. 396—397). Лишь в 1833 г. А. Н. Раевский получил разрешение свободного проживания где ему угодно.

7. С. Г. Волконский женился на М. Н. Раевской в январе 1825 г. 7 января 1826 г. он был арестован в Умани. Их сын, Николай Волконский, родился 2 января 1826 г. При отъезде М. Н. Волконской в Сибирь к мужу сын был оставлен ею в Петербурге у княгини А. Н. Волконской, где вскоре умер. Пушкин написал на его смерть эпитафию:

В сиянии и в радостном покое,
У трона вечного Творца,
С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благословляет мать и молит за отца.

В ответном письме М. Н. Волконская пишет отцу: «Я читала и перечитывала, дорогой папа, эпитафию моему дорогому ангелочку. Она прекрасна, сжата, полна мыслей, за которыми слышится столь многое. Как же я должна быть благодарна автору; дорогой папа, возьмите на себя труд выразить ему мою признательность» (Друзья Пушкина, т. II, М., 1986, с. 128).

8. Пушкин выехал из Петербурга на Кавказ 9 марта 1829 г., но задержался в Москве до 1 мая. 26 мая он приехал в Тифлис. Здесь 9 июня он получил от Н. Н. Раевского-младшего записку с извещением, что ему разрешено ехать в действующую армию. 13 июня Пушкин прибыл к русским войскам, расположенным лагерем у селения Котанлы в тридцати верстах от подошвы хребта Саганлу, где и увиделся с Н. Н. Раевским.

9. Генерал М. Ф. Орлов с 15 мая 1824 г. был женат на старшей дочери Н. Н. Раевского Екатерине Николаевне. Благодаря заступничеству брата, А. Ф. Орлова, после декабрьских событий он не понес тяжелого наказания — после почти полугодового содержания в Петропавловской крепости был отставлен от службы, получил запрещение жить в столицах и уехал в деревню. За ним был установлен тайный надзор. В своем калужском имении Орлов занимался хозяйством, стеклян-

но-фарфоровым заводом и политической экономией. В 1831 г. ему разрешили переехать в Москву. Орлов занял видное место в московском обществе. Всех ближе он был с Чаадаевым. У него бывали Пушкин и молодой Герцен. Орлов умер в Москве в 1842 г., 18 марта (в этот день в 1814 г. при капитуляции французской столицы он принял ключи от Парижа).

10. В ноябре 1827 г. А. П. Ермолов был уволен в отставку и больше не возвращен к деятельности.

11. Кроме стихотворения «Демон» с именем Александра Раевского исследователи связывают и другие стихи Пушкина: «Коварство», «Ангел». Когда в 1826 г. Пушкину сообщили, что среди арестованных декабристов значится и А. Раевский, поэт, забыв прежние обиды, писал Дельвигу: «Милый барон! Вы обо мне беспокоитесь, и напрасно. Я человек мирный. Но я беспокоюсь — и дай бог, чтобы было понапрасну. Мне сказали, что Александр Раевский под арестом. Не сомневаюсь в его политической безвинности. Но он болен ногами, и сырость казематов будет для него смертельна. Узнай, где он, и успокой меня. Прощай, мой милый друг. П.» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. XIII, с. 256).

С января 1834 г. А. Раевскому разрешено было жить в Москве, где поэт встречался с ним. По поводу женитьбы Раевского в 1834 г. на Е. П. Киндяковой Пушкин в 1836 г. писал Наталье Николаевне: «Жена его собою не красавица — говорят, очень умна» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. XVI, с. 114).

12. Н. Н. Раевский-старший скончался в Болтышке 16 сентября 1829 г. М. В. Юзефович оставил рассказ о том, как младший сын перенес известие о кончине своего отца: «Известие это до того поразило сына, что я во всю мою жизнь не видел женщины, рыдавшей, как он... Спустя несколько месяцев я навестил его в деревне. У него в кабинете стояли на бюро акварельные портреты матери, брата и сестер и тут же лежал завернутый в бумагу портрет отца. Когда я развернул его и хотел поставить с другими, этот десятивершковый атлет... стал просить меня дрожащим голосом, чтобы я завернул портрет отца, говоря: «К стыду моему, я до сих пор еще не могу привыкнуть видеть черты отца», и при этих словах слезы потекли у него по лицу» (Русский архив. 1880, III, с. 432).

13. Поэма «Кавказский пленник», посвященная Н. Н. Раевскому-младшему, была закончена в Каменке в 1821 г., первое издание вышло в свет в 1822 г. К одному из хозяев Каменки, В. Л. Давыдову, было обращено послание поэта, в котором есть такие строки:

Меж тем, как генерал Орлов,
Обритый рекрут Гименея,
Священной страстью пламенея,
Под меру подойти готов;
Меж тем, как ты, проказник умный,
Проводишь ночь в беседе шумной, —
За ужином с бутылкою Ан
Сидят Раевские мои...

(Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. II, с. 177).

14. А. Н. Раевский 27 апреля 1819 г. был уволен до излечения болезни к Кавказским Минеральным Водам и прикомандирован к Кавказскому отдельному корпусу, которым тогда командовал А. П. Ермолов.

15. С именем генерала Н. Н. Раевского и его двух сыновей, Александра и Николая, связан бой в июне 1812 г. при деревне Дашковка под Смоленском, воспетый Жуковским в поэме «Певец во стане русских воинов» и закрепленный в изображении, письмах и записях современ-

ников. Так, историк Отечественной войны А. И. Михайловский-Данилевский писал: «В селе Дашковка происходило упорное сражение в 1812 году под начальством генерала Раевского, который, встав посреди Смоленского полка с сыновьями своими, повел оный против неприятеля. Бессмертный подвиг сей... Жуковский... упомянул... Прекрасное назначение стихотворства, когда оно заменяет историю!»

Раевский, слава наших дней,
Хвала! Перед рядами
Он первый грудь против мечей
С отважными сынами.

В записке к Жуковскому, написанной в июле 1819 г., Пушкин также намекает на факт участия Н. Н. Раевского-младшего еще чуть ли не в младенческом возрасте в сражении.

М. Ф. Орлов в составленной им Некрологии своего тестя говорит, что «судьба определила Раевскому в Дашковке и в Париже нанести Наполеону первый и последний удар и заслужить от благодарного потомства надгробную надпись, которая ни к какому имени, кроме его, применена быть не может:

Он был в Смоленске щит,
В Париже — меч России».

(Архив Раевских, т. I, с. 178).

Сам генерал Раевский в разговоре со своим адъютантом Батюшковым отрицал этот эпизод. «Из меня сделали Римлянина, милый Батюшков», — сказал он (Сочинения К. Н. Батюшкова, т. II, СПб, 1885, с. 327).

Между тем историки Отечественной войны утверждают, что «сражение под Смоленском было одно из самых решительных, потому что, если бы Наполеон не застал там корпуса Раевского и сей не сделал бы отчаянного отбора, то главная наша армия... была бы отрезана от Москвы и от полуденных губерний... Наполеон сознается, что без сопротивления сего корпуса... война возымела бы другой оборот» (Русская старина, 1897, № 6, с. 467).

16. В 1815—1816 гг. Н. Н. Раевский-старший увлекался магнетизмом. Он был знаком с известной А. А. Турчаниновой, опыты которой в области магнетизма наделали много шума в Петербурге.

17. Дело это носит название «О следствии, произведенном над генерал-майором Раевским 3-м, бывшим командиром Нижегородского полка, за проезд его в Тифлис в обществе государственных преступников... из отряда, бывшего в Бейбурте, в 1829 году». Круг знакомств и родственных связей Раевского, его покровительство сосланным на Кавказ декабристам, его воинские успехи давно уже обращали на себя внимание командира Отдельного кавказского корпуса генерал-фельдмаршала И. Ф. Паскевича, не терпевшего соперников. Донос на Раевского был написан Н. А. Бутурлиным, адъютантом графа А. И. Чернышева, а вслед этому доносу сам Паскевич поторопился написать в свое оправдание письмо на имя благоволившего к нему государя, где говорил о том, что весьма полезно было бы удаление с Кавказа в числе прочих и генерал-майора Раевского. Но Николай I ограничился лишь обвинением Раевского в нарушении порядка службы, приказал 10 декабря 1829 г. сделать ему строжайший выговор, арестовать домашним арестом на 8 дней и перевести на службу в Россию, дав ему в командование кавалерийскую бригаду в 5-й уланской дивизии. С точки зрения военной это не было наказанием, но для боевого генерала перевод из полка, с которым он прошел всю персидско-турецкую кампанию, был сильнейшим моральным ударом. Действенная натура его была обречена на долгое бездействие. Только к концу 1837 г. он был назначен начальником

1-го Отделения Черноморской прибрежной линии, где ему снова предоставилась возможность проявить на деле и с успехом свои недюжинные воинские и административные способности.

Арест генерала, георгиевского кавалера, вызвал много толков в кавказских войсках. Но «что касается памяти, оставленной Н. Н. Раевским в полку... полк всегда будет высоко чтить имя и память своего знаменитого командира, под геройским предводительством которого Нижегородцы... заслужили свои первые георгиевские штандарты... Имя Раевского... соединяется с понятиями о блестящей и безграничной храбрости, высокой рыцарской честности и неотразимой симпатичности» (Архив Раевских, т. I, с. 498).

18. Приказ об аресте братьев Раевских был получен П. Д. Киселевым в Тульчине 27 декабря 1825 г. «Государь потребовал обоих братьев к себе и сказал Александру Раевскому: «Я знаю, что вы не принадлежите к тайному обществу, но имея родных и знакомых там, вы все знали и не уведомили правительство: где же ваша присяга?» Александр Раевский, один из умнейших людей нашего времени, смело отвечал государю: «Государь! Честь дороже присяги; нарушив первую, человек не может существовать, тогда как без второй он может обойтись еще». Братья Раевские были освобождены из-под ареста с очистительным аттестатом 17 января 1826 г. (см. Русский архив, 1874, т. I, с. 389). В генерал-майоры Н. Н. Раевский был произведен 1 января 1829 г. с оставлением в Нижегородском полку.

19. П. X. Граббе, член «Союза благоденствия», после событий 14 декабря 1825 г. содержался четыре месяца в Динаминдской крепости. Участник русско-турецкой войны 1828—1829 гг. С июня 1829 г. — генерал-лейтенант.

20. Л. С. Пушкин с 14 марта 1827 г. начал службу в Нижегородском драгунском полку под началом Н. Н. Раевского-младшего. Боевое крещение он получил в сражении против персов при Джаван⁴Булаке 5 июля 1827 г.

М. В. Юзефович в период персидской и турецкой кампаний 1827—1829 гг. состоял адъютантом при Н. Н. Раевском-младшем.

21. Генерал-адъютант А. X. Бенкендорф, с июля 1826 г. — шеф жандармов. По линии жены, Елизаветы Андреевны, урожд. Донец-Зархарьевской, он был в родстве с Раевскими.

Л. В. Дубельт был определен в июле 1815 г. к Н. Н. Раевскому-старшему дежурным штаб-офицером корпуса. Он оставался при Раевском до мая 1822 г. По словам С. Г. Волконского, Дубельт был «своим человеком» у Раевских.

22. Еще в 1830 г. Пушкин пытался помочь семье Раевских, что следует из его письма Бенкендорфу от 18 января 1830 г.: «...Узами дружбы и благодарности связан я с семейством, которое ныне находится в очень несчастном положении: вдова генерала Раевского обратилась ко мне с просьбой замолвить за нее слово перед теми, кто может донести ее голос до царского престола. То, что выбор ее пал на меня, само по себе уже свидетельствует, до какой степени она лишена друзей, всяких надежд и помощи. Половина семейства находится в изгнании, другая — накануне полного разорения... Г-жа Раевская ходатайствует о назначении ей пенсии в размере полного жалования покойного мужа, с тем чтобы пенсия эта перешла дочерям в случае ее смерти. Прибегая к вашему превосходительству, я надеюсь судьбой вдовы героя 1812 года, — великого человека, жизнь которого была столь блестяща, а кончина так печальна, — заинтересовать скорее воина, чем министра, и доброго и отзывчивого человека скорее, чем государственного мужа...» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. XIV, с. 58—59).

Ответа на это письмо в бумагах Пушкина не сохранилось, должно быть, поэт переслал его прямо С. А. Раевской.

23. А. А. Константинов был женат с 1766 г. на единственной дочери М. В. Ломоносова Елене Михайловне. Одна из их дочерей, Софья, стала впоследствии женой Н. Н. Раевского. Она умерла в 1844 г. Ей принадлежала мыза Усть-Рудица в Ораниенбаумском уезде Санкт-Петербургской губернии — бывшее имение М. В. Ломоносова. После смерти С. А. Раевской имение перешло к Е. Н. Орловой.

24. Работа о Персии, задуманная Н. Н. Раевским, осталась невыполненной. В бумагах Раевского сохранились только списки книг, им составленные для этой работы; из них видно, что он собрал значительную литературу по интересовавшему его вопросу.

Альбом Раевских

Альбом хранился в семье Орловых, и впервые с ним познакомились посетители Юбилейной пушкинской выставки 1899 г. в Москве. Сама реликвия хранилась у жены сына М. Ф. Орлова — Ольги Павловны Орловой (урожд. Кривцова). В 1938 г. альбом был приобретен Государственным музеем Пушкина у внучки Орлова — Елизаветы Николаевны Орловой. Многие подписи в альбоме сделаны Екатериной Николаевной Орловой (Раевской) или ее внучкой Софьей Владимировной Яшвилль (в замужестве Уваровой).

Портреты из Каменки

Аглая Антоновна Давыдова (1787—1842), урожд. герцогиня де Граммон, жена А. Л. Давыдова, одного из владельцев Каменки, была, по свидетельству современников, «весьма хорошенькой, ветреной и кокетливой, как истая француженка. Она служила в Каменке магнитом, привлекающим к себе. От главнокомандующих до корнетов — все жило и ликовало в селе Каменке у ног прелестной Аглаи». Пушкин посвятил ей стихотворение «Кокетке», эпиграммы и включил ее имя в так называемый «Доп-Жуанский список» своих увлечений (1829 г.).

Младшая дочь Давыдовых, Адель Александровна (1810 — после 1882), не унаследовала красоты матери, но была очень миловидна. По свидетельству И. Д. Якушкина, «Пушкин вообразил себе, что он в нее влюблен», и тем смутил десятилетнюю девочку. Посвященное ей стихотворение Пушкина было напечатано в «Полярной звезде» за 1824 г. под названием «В альбом малютке».

Аглая Антоновна и ее дочь покинули Россию в конце 1820-х гг. После смерти отца Адель ушла в монастырь под Парижем и в нем, по словам А. О. Смирновой-Россет, «провела лучшие свои годы жизни — более трех десятилетий». Потом жила в Англии, где скончалась в начале 1880-х гг.

«Под одной звездой...»

1. Вот что писал о княгине З. А. Волконской племянник поэта Д. В. Веневитинов: «Художница, музыкантша, писательница — одним словом, артистка в душе, княгиня Зинаида блистала в свете умом, образованием, талантами, богатством и этими дарами, помимо красоты, завладевала вниманием высоко образованных и талантливых людей, которых соединяла у себя... Она собирала на своих вечерах цвет тогдашнего аристократического и литературного мира; у нее мой дядя и его даровитые товарищи С. А. Соболевский, С. П. Шевырев, М. П. Погодин, Киреевские, Хомяковы встречались с А. С. Пушкиным, кн. П. А. Вя-

земским, Адамом Мицкевичем и другими знаменитостями» (Аронсон М., Рейсер С. Литературные кружки и салоны. Л., 1929, с. 153).

2. В этот приезд в Петербург Лермонтов особенно подружился с Е. П. Ростопчиной. Он встречался с ней почти каждый день вплоть до своего отъезда в Пятигорск в середине апреля 1841 г.

Ростопчина тяжело переживала трагическую смерть поэта. Софье Карамзиной посвятила она стихотворение, где снова создала живой образ Лермонтова и ту роль, которую в его жизни имел дом Карамзиных:

О! Живо помню я тот грустный вечер,
Когда его мы вместе провожали,
Когда ему желали дружно мы
Счастливым путь, счастливейший возврат,
Как он тогда предчувствием невольным
Нас напугал! Как нехотя, как скорбно
Прощался он!.. Как верно сердце в нем
Недоброе, тоскуя, предвещало!

«Запутанная совесть»

1. Летом 1824 г. Софья Михайловна Салтыкова гостила вместе с отцом под Смоленском в имении своих родственников Пассеков. Их сосед, молодой Петр Каховский, произвел на нее глубокое впечатление. Она писала о нем: «Сколько ума, сколько воображения было в этом молодом человеке! Сколько чувства, какое величие души, какая правдивость! ...Русская литература составляла его отраду... Пушкин и его поэма «Кавказский пленник» нравились ему невыразимо, он знал поэта лично и декламировал очень много его стихов, которые были не напечатаны и которые поэт сообщил только своим друзьям».

Вскоре Каховский объяснился Софье Михайловне в любви. Но отец избраницы наотрез отказал ему, как человеку, не имеющему состояния и определенного рода занятий. Через год она вышла замуж за А. А. Дельвига (см. Чижова И. Б. «Души волшебное светило...», Л., 1988, с. 128—129).

2. И. Д. Якушкин был долго и безнадежно влюблен в Наталью Дмитриевну Щербатову. Но в 1819 г. она выходит замуж за князя Федора Петровича Шаховского. Князь Шаховской, некогда готовый посягнуть на жизнь государя, отошел от тайного общества, вышел в отставку, занялся хозяйством.

Судьба Н. Д. Щербатовой сложилась трагично. В сибирской ссылке Шаховской сошел с ума. Царь разрешил перевести больного в Суздаль, в Спасо-Ефимиевский монастырь, а жене поселиться неподалеку. Здесь Наталья Дмитриевна и схоронила мужа через два месяца после приезда. Умерла она в глубокой старости, в 1885 г., в одиночестве.

3. 26 июня 1831 г. Пушкин пишет Нащокину: «Еще кланяюсь Ольге Андреевне, Татьяне Демьяновне, Матрене Сергеевне и всей компании». «Компания» — это знаменитый московский цыганский хор Ильи Соколова. В одну из тамошних певиц, Ольгу Андреевну Солдатову, влюбился П. В. Нащокин. Этот дворянско-цыганский роман длился несколько лет, до конца 1833 г., когда Нащокин женился на Вере Александровне Нарской (см. Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. XIV, с. 181).

4. Брат Л. Н. Толстого Сергей Николаевич увлекся цыганской певицей Марьей Михайловной Шишкиной. Прожив с ней 18 лет и имея детей, он влюбился в Татьяну Андреевну Берс и намеревался жениться на ней. Однако этот роман кончился тем, что Татьяна Андреевна вышла замуж за А. М. Кузминского, а Сергей Николаевич обвенчался с Марьей Михайловной.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Анненков П. В. Пушкин в Александровскую эпоху. 1799—1826. СПб, 1874.
Аронсон М., Рейсер С. Литературные кружки и салоны. М.—Л., 1929.
Архив Раевских. Т. 1—5. СПб, 1908—1915.
Баратынский Е. А. Полное собрание стихотворений. Л., 1989.
Баргнев П. И. Пушкин в южной России. М., 1914.
Белые ночи. Очерки, зарисовки, воспоминания, документы. Л., 1989.
Вацуро В. Э. «Северные цветы». История альманаха Дельвига — Пушкина. М., 1978.
Вересаев В. В. Спутники Пушкина. Т. 1—2. М., 1937.
Вигель Ф. Ф. Записки. Ч. 1—2. М., 1928.
Воспоминания Бестужевых. М.—Л., 1951.
Вульф А. Н. Дневники. М., 1929.
Гастфрейнд Н. Товарищи Пушкина по императорскому Царскосельскому лицейу. Т. 1—3. СПб, 1912—1913.
Гершензон М. О. История молодой России. М.—Пг., 1923.
Гершензон М. О. Мудрость Пушкина. М., 1919.
Герштейн Э. Судьба Лермонтова. М., 1964.
Грот Я. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. СПб, 1899.
Дельвиг А. А. Полное собрание стихотворений. Л., 1959.
Дельвиг А. И. Полвека русской жизни. Воспоминания. Т. 1—2. М.—Л., 1930.
Друзья Пушкина. Т. 1—2. М., 1985.
Ениколопов И. К. Пушкин в Грузии. Тбилиси. 1966.
Зименко В. М. О. А. Кипренский. М., 1988.
Керн А. П. Воспоминания. Л., 1929.
Лемже М. Николаевские жандармы и русская литература. 1826—1856. СПб, 1908.
Лермонтов в воспоминаниях современников. М.—Л., 1972.
Лернер Н. О. Труды и дни Пушкина. СПб, 1910.
Лотман Ю. М. Роман Пушкина «Евгений Онегин». Л., 1980.
Лотман Ю. М. Пушкин. Биография писателя. Л., 1982.
Лукин М. С. Письма из Сибири. М.—Л., 1987.
Майков Л. Н. Пушкин. СПб, 1899.
Модзалевский Б. Л. Пушкин под тайным надзором. Л., 1925.
Ободовская И., Дементьев М. Н. Н. Пушкина. М., 1985.
Ободовская И., Дементьев М. После смерти Пушкина. М., 1980.
Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 1—4. СПб, 1899.
Орлов М. Ф. Капитуляция Парижа. Политические сочинения. Письма. М., 1963.
Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. В 16 т. М., 1937—1949.
Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1—2. М., 1974.
Пушкин. Материалы и исследования. Т. 11. Л., 1983.
Пыпин А. Н. Общественное движение в России при Александре I. Пг., 1918.
Раевский Н. А. Друг Пушкина П. В. Нащокин. Л., 1977.
Ростопчина Е. П. Талисман. Избранная лирика. М., 1987.
Смирнова-Россет А. О. Дневник. Записки. М., 1989.
Тургенев А. И. Хроника русского. Дневники. М.—Л., 1964.
Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1969.
Цявловская Т. Г. Рисунки Пушкина. М., 1983.
Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества Пушкина. Т. 1. М., 1951.
Чижова И. Б. «Души волшебное светило...». Л., 1988.
Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л., 1989.
Черейский Л. А. Современники Пушкина. Л., 1981.
Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. М.—Л., 1936.
Эйдельман Н. Я. Пушкин и декабристы. М., 1979.
Эфрос М. Рисунки поэта. М.—Л., 1933.
Якушкин И. Д. Записки, статьи, письма. М., 1951.

ОГЛАВЛЕНИЕ

О книге и ее авторе	3
СУДЬБА И ЛЕГЕНДА. Этюды к портрету Дельвига	5
«ИЗВЕСТЕН ВПРЕДЬ...» К истории создания О. Кипренским портрета А. С. Пушкина	32
«РАЕВСКИЕ МОИ...»	41
Версии	44
«Услуги, вечно незабвенные...»	63
«При свете утренней Киприды...»	76
«Огонь... под пеплом...»	86
«О первый из друзей моих...»	101
«Ты снова в битвах очутился»	108
АЛЬБОМ РАЕВСКИХ	119
ПОРТРЕТЫ ИЗ КАМЕНКИ	123
«ПОД ОДНОЙ ЗВЕЗДОЮ...»	126
«ЗАПУТАННАЯ СОВЕСТЬ». О некоторых внелитературных параллелях к поэме Е. А. Баратынского «Наложница»	139
Примечания	150
Список рекомендуемой литературы	159

Издание научно-популярное

Татьяна Кузминична ГАЛУШКО

«РАЕВСКИЕ МОИ...»

Заведующая редакцией *А. М. Березина*
Художник *А. И. Векслер*
Художественный редактор *И. В. Зарубина*
Фотограф *К. И. Жаринова*
Технический редактор *Н. Н. Дмитриева*
Корректор *Т. В. Мельникова*

ИБ № 5358

Сдано в набор 18.09.90. Подписано к печати 01.02.90. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага офс. Гарн. обыкн. нов. Печать офс. Усл. печ. л. 8,40. Усл. кр.-отг. 8,82. Уч.-изд. л. 9,0. Тираж 100 000 экз. Заказ № 594. Цена 1 р. 50 к.

Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59. Типография им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.

1 р. 50 к.